

А. В. ЖИВАГО-

ВРАЧ КОЛЛЕКЦИОНЕР ЕГИПТОЛОГ





*Старинный российский род ЖИВАГО,
начало которому было положено на Рязанской земле
еще до XVI века и живущий поныне в разных частях света,
сыграл заметную роль в отечественной жизни,
проявив свои способности во многих сферах.
Одним из ярких его представителей был
Александр Васильевич ЖИВАГО
(1860 — 1940)*

*К 100-летию
Государственного музея
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина*

**А.В. ЖИВАГО –
ВРАЧ
КОЛЛЕКЦИОНЕР
ЕГИПТОЛОГ**

МОСКВА
АО "ЭКОС"
1998

УДК 008(091)+008(47+57)(093.3)+929 Живаго
ББК 63.3(2)6
Ж66

Составители:

**НИКОЛАЙ ЖИВАГО,
ПЕТР ГОРШУНОВ**

Редактор

ВАДИМ ГЕЛЬМАН

СЕМЬЯ ЖИВАГО
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЮ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ:

Banco Ambrosiano Veneto

итальянскому банку “Амброзиано Венето”
за великодушную помощь в осуществлении
этого издания,

Государственному музею изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина,

Государственному Центральному театральному
музею им. А.А. Бахрушина,

Таусии Антонио Веронике ДОРН
(НЕАПОЛЬ)

за предоставление архивных материалов,

а также всем, кто оказал содействие
в подготовке сборника.



СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	5
Вспоминает Антониетта Дорн	7
В. Гельман. А.В. Живаго	10
ИЗ НАСЛЕДИЯ А.В. ЖИВАГО	
Воспоминания	21
По Нилу до 22° северной широты	139
Из театрального дневника	157
Из писем	163
М. Лобыцына. Кто вы, доктор Живаго?	170
Род Живаго сегодня	176





От составителей

Эта книга задумана как сборник, дающий первое общее представление о нашем предке — Александре Васильевиче Живаго (1860—1940). Врач с тридцатилетним стажем, путешественник, фотограф, рисовальщик, коллекционер, египтолог, археолог, Ученый секретарь Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, переводчик, писатель, хроникер культурной и прежде всего театральной жизни Москвы, водивший доброе знакомство со Станиславским, Шаляпиным, Неждановой, Кориным, он обладал легким пером и оставил после себя богатое архивное наследие, откуда позаимствовано большинство публикуемых здесь материалов. Тут и история семьи Живаго на фоне общественных событий с жизнью примечательных московских домов, и путешествие по Нилу, определившее судьбу Александра Васильевича, и фрагмент театральных дневников, которые он с юного возраста вел непрерывно всю жизнь. Наконец, в сборник вошли выдержки из его обширной частной переписки, некоторые сведения о нем, рисунки, фотографии, а также очерк современного семейства Живаго.

Однако задача книги не ограничивается понятным и вполне достойным стремлением потомков поведать “городу и миру” о своем замечательном предшественнике. Важно и другое: знакомство с наследием А.В. Живаго имеет осязаемое историко-культурное значение. Здесь мы прикасаемся к высочайшей человеческой культуре, которая на пороге XXI века не в одной России, но в целой Европе оказалась значительно утраченной. Хочется верить,



небезнадежно. Культура — есть качество народа. От этого зависит сегодня безопасность стран и континентов, что постепенно, с большим трудом начинают осознавать современники. Потому и ценно всякое свидетельство в пользу высокой культуры и ее носителей. Примеры такого рода жизненно необходимы для любого общества.

Поразительная образованность Александра Васильевича, блестящего представителя русской просвещенной буржуазии, его внутренняя свобода, размах интересов и компетентность суждений в единстве с прекрасным русским языком, несомненно, заинтересует понимающего читателя, которому остается пожелать по поводу прочитанного хороших мыслей и дельных выводов.

*Николай Живаго,
Петр Горшунув*

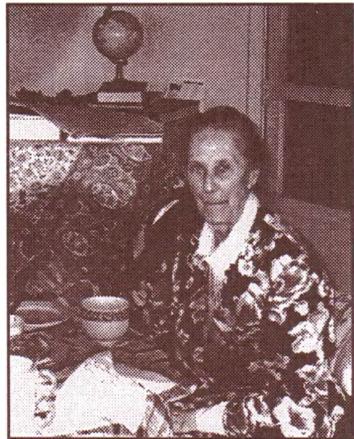


ВСПОМИНАЕТ АНТОНИЕТТА ДОРН

(Таисия Антония Вероника Дорн)

В июле 1935 года в Ленинграде состоялся Международный конгресс физиологов, куда по личному приглашению знаменитого И.П. Павлова отправились мои родители, взяв с собой меня и моего брата Петра, поныне живущего и здравствующего в местечке Риети близ Рима. Так в возрасте 19 лет мне выпало счастье впервые побывать в родных краях нашей матери, Татьяны Романовны Живаго, которая уехала из России в 1913 году, выйдя замуж за немца Рейнхарда Дорна, директора Неаполитанской зоологической станции.

Заключительная часть конгресса проходила в Москве, и мы решили задержаться здесь, чтобы осмотреть город, музеи, а главное — повидаться с родственниками матери. Родители остались жить в гостинице, нас же с братом поселили в доме нашего московского дяди — Василия Романовича Живаго.



*Антониетта Дорн, Неаполь,
ноябрь 1997 г.*



После всех роскошеств Академии наук с торжественными банкетами и официальным приемом в Кремле, после пышных экскурсий по дворцам и усадьбам мы словно провалились в самую гущу реального советского быта с его унижительной бедностью. Нашему взору открылись перенаселенные коммунальные квартиры, где влачили незавидное существование наши родственники и их знакомые; мы видели множество плохо одетых, нередко босых людей в пригородных электричках и на каждом шагу ощущали подавляющее ограничение возможностей. До сих пор я с волнением и благодарностью вспоминаю неподдельное гостеприимство,



оказанное нам московской родней несмотря на стесненность жилищ и средств, в условиях серьезной опасности, грозившей советскому гражданину со стороны властей за общение с иностранцами.

В водовороте сильных впечатлений мы познакомились с жившим в Москве родным дядей нашей мамы Александром Васильевичем Живаго (он — мой двоюродный дед, а я

30 августа 1935 г. Клин, Дом-музей П.И. Чайковского.

В первом ряду слева направо: Татьяна Романовна Живаго, Наталья Романовна Живаго (Ярошевская), Рейнхард Дорн. Сзади: Антониетта Дорн и Петр (Пьетро) Дорн

ему — внучатая племянница), которого мы всегда называли дядей Сашей, хотя знали лишь заочно. На протяжении многих лет дядя Саша незримо присутствовал среди нас в неаполитанском доме благодаря своим неподражаемым письмам: то обстоятельно-семейным, то донельзя умным, то бесшабашно-веселым, зато всегда бесконечно добрым и сердечным.



Знакомство состоялось в Клину, в Доме-музее П.И. Чайковского, где дядя Саша отдыхал у своих друзей, хранителей музея, и куда мы специально приехали для встречи с ним. Разговор вышел весьма оживленный. Много говорили о семье, о планах на будущее, затем дядя Саша радушно провел нас по музею, где чувствовал себя как дома и, превосходно разбираясь в музыке, знал очень многое. Было любопытно и очень приятно наблюдать за этим необыкновенным человеком, слушать его интереснейшие рассказы. Мы, разумеется, любили его по письмам, знали о его поразительной личности, об огромной многосторонней культуре. Но эта первая встреча окончательно укрепила в нас уважение к нему, вызвала и восхищение, и гордость. Я на всю жизнь запомнила его таким, каким увидела в тот день: малого роста, с седой стрижкой бобриком под каким-то картузом, острый ироничный взгляд небольших серых глаз.

С нетерпением жду выхода этого сборника. Он расскажет об удивительном пути А.В. Живаго в русле общественно-культурной жизни великого русского народа, с которым я связана теснейшими узами родства.

Неаполь, январь 1998 г.





Вадим Гельман

А.В. ЖИВАГО
(1860—1940)

В ряду деятелей отечественной культуры свое место по праву занимает Александр Васильевич Живаго. Благодаря тому, что сохранился его личный архив, есть возможность проследить, с одной стороны, уникальную, а с другой — трагически типичную судьбу русского интеллигента и творческой личности в переломный период истории страны, уцелевшего в вихре войн, революций, при большевистском режиме. В то же время документы позволяют воссоздать историю его славного рода на широком общественном фоне, а также прочесть уникальные страницы хроники жизни Музея изящных искусств.

Его предками были как преуспевающие купцы, финансисты, владельцы фабрик и магазинов, так и деятели культуры. Потомок старинного рязанского купеческого рода, известного с XVI века, а в XIX уже прочно утвердившегося в Москве, А.В. Живаго избрал профессию врача и, закончив медицинский факультет Московского университета, более 30 лет отдал службе в Голицынской больнице, пройдя весь послужной список до старшего врача и члена Правления. Наряду с этим, разнообразные способности в сочетании с поразительной жизненной энергией предопределили его деятельность и в иных сферах, а последние 20 лет его жизни неразрывно связаны с Музеем изобразительных искусств.

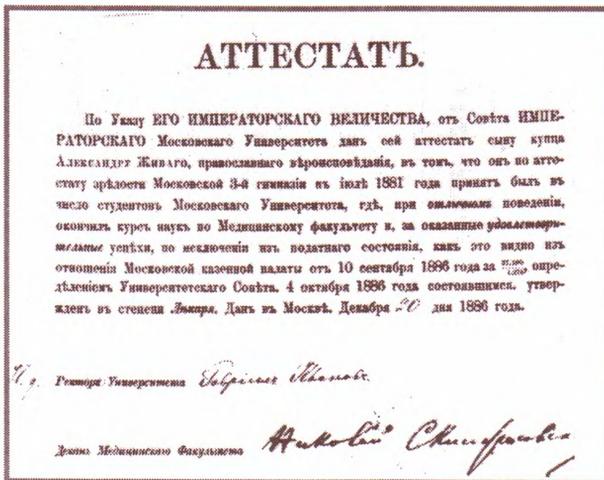
Александр Васильевичу было щедро отмерено прожить по 40 лет в XIX и XX столетиях. Гимназистом, на лесах достраи-



вавшегося храма Христа Спасителя, он с восторгом слушал рассказ учителя истории о славном прошлом Москвы, обозревая великолепную панораму города. А на восьмом десятке лет, в морозный зимний день 1931 года, находясь в стенах Музея изобразительных искусств, ощущал сотрясения здания, с ужасом ожидая новых взрывов, рушивших находившийся поблизости тот самый Храм. Жизнь А.В. Живаго оказалась как бы символически ограниченной этими двумя событиями.

С детства проявил способности к рисованию, к которому общали его и бабушка, и отец, и гувернантка; тогда же страстно любил театр. Отец, большой театрал, регулярно брал сына Сашу уже с 12 лет в Итальянскую оперу в Большой театр. С 14 лет (и до конца дней) он стал вести подробнейший «театральный» дневник, нередко сам участвовал в любительских спектаклях в качестве актера, режиссера, художника-оформителя.

Александр Живаго заканчивает 3-ю Московскую классическую гимназию в 1882 году. Учеба в Университете, по окончании которого он утверждается в степени лекаря, последующая, довольно



Аттестат (Диплом) А.В. Живаго об окончании Медицинского факультета Московского университета от 20 декабря 1886 г., подписанный Н.В. Склифосовским



напряженная и успешная врачебная деятельность¹ сочетались с активной светской жизнью. Охотник, участник состязаний по стрельбе, проходивших в имениях друзей, клубный завсегдатай, А.В. Живаго был к тому же весьма состоятельным человеком. Вместе со своими братьями в принадлежавшем им подмосковном имении «Дулепово» он увлеченно занимался сельскохозяйственными преобразованиями: формированием лесопарковой зоны с научно обоснованными посадками экзотических деревьев, созданием системы прудов с разведением редких промысловых пород рыб, налаживанием крупного, современно оснащенного племенного конного завода и т.п.

Кажется, столь разнообразная деятельность может с лихвой заполнить существование не одного человека. Но были еще два увлечения юности, с годами превратившиеся в всепоглощающую страсть — путешествия и изучение древней истории и искусства. Их гармоническое сочетание принесло в дальнейшем богатые плоды.

«Египтологией и историей культуры древних государств Средиземья занимался с 1896 года»² — позднее отметит А.В. Живаго в автобиографии. С самого начала он подошел к этому весьма серьезно: в свободное время штудировал труды знаменитых востоковедов, изучал коллекции предметов, найденных при раскопках центров великих цивилизаций, сам пробовал заняться археологией, выполнял переводы трудов известных французских и немецких ученых.

Вскоре произошло событие, которое во многом определило всю его дальнейшую жизнь. Позднее он написал об этом:

«Зимой 1910 года мне удалось, наконец, побывать в Египте, а что может быть приятнее осуществления давно лелеянной мечты?»

Давно манила к себе эта страна седой старины; недаром говорят, она полна чар. ...Манит к себе и околдовывает, чем и встарь сильна была эта страна и ученых, и туристов, заражает увлеченных изучением, из любопытствующих делает любознательных, властно зовет к себе вторично тех, кто посетили ее, стремится ассимилировать и их, так же, как ассимилирует и животных, и растения.



Не принадлежал я к числу тех, кто случайно заинтересовались этой страной. Еще с юных лет я отдавался мечте посетить Египет, на месте ознакомиться со многим, изученным мною... Мне удалось объездить чуть не все государства Европы, пришлось побывать во французских колониях Северной Африки, даже в Сахаре и в двух-трех ее оазисах, но никак не мог я в силу служебных обязанностей устроить себе зимний отпуск, чтобы осуществить заветнейшую свою мечту.

Наконец, в половине декабря 1909 года, отвоевав себе более чем двухмесячный отпуск на январь и февраль следовавшего года, я с весны еще начал усиленные занятия, освежая знания и подготавливая все для поездки в далекий край.»³

А.В. Живаго совершил путешествие по Нилу от Александрии до тогдашней границы с Англо-Египетским Суданом (Вади-Хальфа) — около 1300 км и обратно, затем проехал по некоторым областям Палестины, Сирии, прибрежным городам Турции.

Результаты поездки были внушительны: сотни фотографий и диапозитивов памятников культуры древних цивилизаций, подробный дневник, путевые заметки, зарисовки. Все это явилось исходным материалом для будущего фундаментального труда об этом путешествии. В Египте было положено начало коллекции памятников древневосточной и античной цивилизаций А.В. Живаго. Все началось с Каирского музея:

«Каждый раз покидая Музей, заходили мы в его «Salle de vente», где весьма любезные и полные знаний молодые французы-служащие отпускали мне за недорогую цену те или другие памятники, предназначенные Музеем к продаже. В особых шкафах за стеклами стоят они, расцененные в каждом в одну и ту же цену; более громоздкие, большей частью в фрагментах, расположены на полу просторного помещения. С весны 1910 года, как говорили они мне, предполагался разбор громадных ящиков древностей, доставленных в Музей с мест различных раскопок в долине Нила и Нубии, после чего, как и всегда, зала продаж значительно пополнится. Составив себе довольно интересную небольшую коллекцию предметов древнего египетского искусства, я и впоследствии пополнял ее, адресуясь к ним в Каир и прося их не отказать выслать мне



намеченное мною. Любезные сотрудники Музея исполняли мои просьбы, не раз делая розыски нужных мне предметов у лучших антикваров города. Коллекция еще разрослась благодаря вниманию одного лечившегося в Хелуане друга, который завязал с ними знакомство и с их помощью находил интересовавшие меня предметы как в зале продаж Музея, так и на стороне, всегда полагаясь на их умение отличать подделки.»⁴

В формировании коллекции помощь и содействие А.В. Живаго оказывал один из ведущих отечественных ученых-востоковедов Б.А.Тураев, с которым его связывали узы дружбы, а также научные интересы, в частности, изучение знаменитой древневосточной коллекции В.С. Голенищева, которая поступила в открывающийся в Москве Музей изящных искусств.

С этого момента контакты с Музеем не прерывались. А.В. Живаго нередко приглашали туда для чтения лекций и проведения экскурсий в залах Древнего Востока. В 1915 году его дом посетила целая делегация из Музея изящных искусств, в которой были его директор профессор В.К. Мальмберг, профессор Б.А. Тураев, архитектор Р.И. Клейн. А.В. Живаго приглашался занять место Ученого секретаря Музея.

Это предложение было принято лишь во время их повторного визита к А.В. Живаго зимой 1919 года. Вынужденный еще в октябре 1917 года уйти со службы в больнице, где новую администрацию возглавила бывшая сиделка Машка Дронова и ее "революционное" окружение, он буквально замерзал и умирал с голоду. «Душой я воскрес ...»⁵ — так в своем дневнике он отметил день, когда давнишние его мечты стали реальностью.

Музеем оказались счастливо востребованными еще в детстве проявившиеся разнообразные способности А.В. Живаго. С 1923 года он — лектор-руководитель в Отделе Классического Востока. Будучи энциклопедически образованным специалистом по культуре Древнего Востока, со знанием немецкого, французского, греческого, латинского языков, он, обладая даром рассказчика и актерскими способностями, проявил себя как талантливый популяризатор, экскурсовод высшего класса, восхищавший даже крупных профессионалов. Сохранились его подробные записи



экскурсий и методические разработки по лекторской и экскурсионной работе. Талант рисовальщика и каллиграфа использовал для выполнения тысяч табличек этикетаж, экспликаций, географических карт, участвовал в оформлении постоянной и временной экспозиций.

Каждую свободную минуту А.В. Живаго старался отдавать своей коллекции, хранившейся у него дома в двух маленьких комнатках, которые ему были оставлены советской властью после «уплотнения» в бывшем собственном доме на Большой Дмитровке. Причем, буквально все послереволюционные годы, не без помощи Музея, он вел отчаянную борьбу с чиновниками за право не быть выселенным и оттуда, сохранить уникальную коллекцию.

Перед посещением Египта в далеком уже 1910 году А.В. Живаго неоднократно заявлял, что это его путешествие было только началом серии научных экспедиций на Восток с целью глубокого изучения древнеегипетской истории и культуры. Однако судьба решила иначе и вскоре он вынужден был признать:

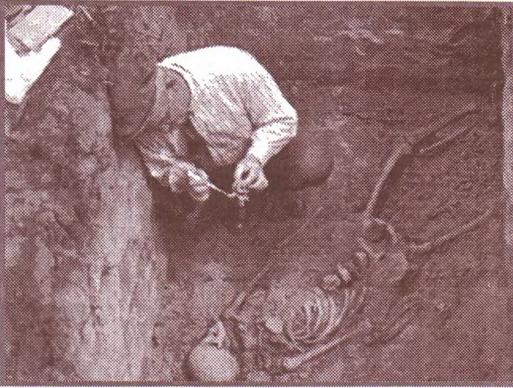
«Начавшаяся в 1914 году мировая война и все то, что за ней воспоследовало и тянется до сих пор, угнетая и связывая по рукам, не только не дали возможности вновь посетить Египет, на что была



Уголок коллекции А.В. Живаго в его доме на ул. Б. Дмитровка



горячая надежда, но и знакомиться здесь, на так сильно страдающей нашей родине, с новыми трудами мировых ученых, более счастливых, чем наши...»⁶



А.В. Живаго на археологических раскопках в Подмоскowie, 1930-е годы

В выходные дни и летние отпуска Александр Васильевич путешествовал по Подмоскowie, участвуя иногда с друзьями в любительских археологических раскопках.

Часто бывал в Доме-музее П.И. Чайковского в Клину, с сотрудниками которого был связан дружескими узами. Имел широкий круг знакомств среди творческой интел-

лигенции Москвы и Ленинграда, еще с дореволюционных времен сохранил теплые отношения с К.С. Станиславским и артистами МХАТа.

Из родственников А.В. Живаго был близок со своим племянником Василием Романовичем (вплоть до его ареста в 1937 году), по его настоянию написал обширные воспоминания о своих детских и юношеских годах, переписывался с теми, кто давно уже обосновался за границей, получая от них и материальную поддержку.

Последние годы тяжело болел, с трудом передвигался, но не прекращал научной обработки коллекции: составления каталога, описания предметов, их собственноручных зарисовок, датировок и т.д.

Не меньшее внимание А.В. Живаго уделял своему личному архиву, главная особенность которого – уникальное разнообразие представленных там материалов. Это документы семейного архива, учебы в гимназиях и Университете, служебной деятельности в Голицынской больнице и Музее изящных искусств, светской жизни,



имущественно-бытовые и финансовые, а также материалы творческого характера: литературные произведения, воспоминания, дневниковые записи, переводы, письма, рисунки А.В. Живаго. Полно представлены материалы путешествия в Египет и другие страны Востока: фотографии, диапозитивы, путевые заметки и т.п., а также материалы, относящиеся к коллекции: описи вещей, документы, связанные с их приобретением, каталоги коллекции. Особо можно выделить дневники А.В. Живаго, которые он вел более 65 лет, научное описание путешествия в Египет в 1910 году, историю своего рода и воспоминания о детских и юношеских годах, а также собственноручно великолепно оформленные каталоги египетской и античной частей коллекции с зарисовками предметов.

За несколько лет до смерти А.В. Живаго составил завещание, по которому после его кончины в собственность Музея изобразительных искусств должна была перейти вся его коллекция древнеегипетских памятников культуры и искусства с IV тыс. до н.э. – до первых веков н.э. и изделия древнегреческих мастеров IV—III веков до н.э. Также передавались Музею библиотека, собрание диапозитивов и личный архив. Это было исполнено в 1940 году; тогда же в стенах Музея состоялась маленькая посмертная выставка некоторых экспонатов коллекции А.В. Живаго.

А.В. Живаго родился в Российской империи, где еще господствовало крепостное право, пережил войны, революции, невиданные кровавые междоусобицы, большевистский террор, и окончил свои дни в России советской, уже неудержимо затягиваемой в водоворот второй мировой войны.

Три десятилетия своей полувековой трудовой деятельности он отдал медицине, а последние два – Музею изобразительных искусств. Потеряв работу по своей профессии, лишившись состояния и средств к существованию, он, несмотря на возможность уехать за границу к приглашавшим его вполне обеспеченным родным, предпочел остаться на родине и работать на новой стезе.

Отрадно, что в возрождающейся России, истинным патриотом которой на протяжении всей своей долгой жизни оставался А.В. Живаго, происходит, хотя и запоздалое, признание его заслуг



перед отечественной культурой. В год 100-летия со дня закладки Музея изящных искусств в его стенах демонстрируется вся коллекция А.В. Живаго вместе с некоторыми материалами его личного архива, готовятся к печати статьи о его жизни и деятельности, публикации его дневников и воспоминаний. Глубокое изучение творческого наследия А.В. Живаго еще впереди.

¹ В медицинской периодической печати того времени нередки были его научные публикации.

² Архив ГМИИ, ф. 20, оп. 1, ед. хр. 18, л. 6.

³ Там же, ф. 20, оп. II, ед. хр. 27, с. 1—4.

⁴ Там же, с. 98, 99.

⁵ Архив ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, ф. 100, Дневник № 17, л. 3.

⁶ Архив ГМИИ, ф. 20, оп. II, ед. хр. 27, с. 99.



Из наследия
Александра Васильевича
ЖИВАГО

*Учились наши старики большей частью чему-нибудь
и как-нибудь... но... невольно удивляешься их
начитанности, знакомству с литературой, изящной
остроумной речи, здравым, логически обоснованным
мыслям и той форме, в которой они выражались.
Простые купеческие семьи дали нашей Москве целый ряд
весьма интересных людей и общественных деятелей,
именами которых по праву гордится
Первопрестольная.*

А.В. Живаго



А.В. ЖИВАГО

[Воспоминания]*

(С сокращениями)

Тебе, дорогой мой Вася**, посвящаю я эти записки. Согласно настоятельно и не один раз выраженному тобой желанию, чтобы я изложил тебе, хотя бы в самых кратких чертах, все то, что мне известно из истории нашего рода, я, приступая к исполнению этой задачи, должен сознаться, что точные сведения мои касательно этого вопроса крайне скудны. Пока был жив покойный отец мой, не раз я обращался к нему с просьбою порассказать мне о стариках, его родных и, помнится мне, с громадным удовольствием слушал я отца — блестящего рассказчика, не сознавая, к сожалению, всей необходимости позаписать то или другое, хотя бы отрывочно и кратко. Но кто не упрекал себя впоследствии за легкомыслие своих юных лет?

Многое рассказывала и покойная мать, несвязно пробовал сообщать кое-что и старый дед, Осип Афанасьевич, плутовато улыбаясь и поигрывая с нами в шашки. Часами рассказывала покойная дальняя наша родственница, Варвара Васильевна Живаго; не лишены были большого интереса и воспоминания близкого нашей семье талантливого чтеца, общего “дедушки” Ивана Алексеевича Григоровского.

Слышал я, что покойный двоюродный брат отца, Иван Михайлович Живаго, работал и, будто бы, довольно удачно

* Текст (без заголовка) написан в основном в 1914 году, есть позднейшие вставки, стиль и орфография того времени сохранены.

** Вася — Василий Романович Живаго (1889—1937?), племянник А.В. Живаго. Подробнее о нем см. “Род Живаго сегодня”.



по вопросу о нашем роде, помнится, что, согласно его розысканий до нас достиг слух, что род Живаго очень старый. Говорили также с его слов, что пожаром в первой половине XIX века уничтожена часть документов по архиву города Рязани. Очень сожалею, что не нашел я возможным побеседовать об этом с покойным дядей, относившимся ко мне с милым вниманием. Редко видались мы с этим заслуженным и высокообразованным человеком, тихо доживавшим свой век в собственном домике на Спиридоновке, после крайне нервной и напряженной работы по приведению в порядок запущенных во всех отношениях дел Московской Практической Академии Коммерческих Наук, где он много лет инспекторствовал, отстаивая интересы училища и поставив его на должную высоту. Не раз впоследствии писал я его сыновьям, спрашивая их, не найдены ли ими записки покойного. Одни отзывались незнанием, другие писали мне, что в обширной библиотеке отца они не нашли интересовавших меня документов. Винить во всем этом надо только самого себя. Собрать, проверить и позаписать можно было многое, было бы твердое желание. Теперь же приходится ограничиться изложением только того, что хотя и недостаточно, но действительно и неоспоримо* и прибавить к этому те непроверенные слухи, которые летали вокруг нас и почему-то запечатлелись в памяти.

Живаго происходят** из старинного рода посадских людей Переславля-Рязанского (нынешней Рязани). Представителей этого рода можно проследить по архивным документам со второй половины XVI столетия. Так, например, в “платежных книгах” рязанского края за 1595—1597 гг. в Переславле-Рязанском упо-

* 23 февраля 1914 г. посетил я милую почтенную старушку, тетушку Клавдию Ивановну Величко и был принят ею по родственному тепло и радушно. Часа три провели мы с нею в беседе о старом житье-бытье. Вынула она мне чудный, маленький альбомчик в красном старинном переплете, зашитом бисером руками бабушки Марьи Андреевны, и там среди мило сделанных, наивных акварелек работы дедов Ивана и Семена Афанасьевичей (от 1812 по 1824 г.) (пейзажи, кавалеристы эпохи Отечественной войны, идиллические свидания, голубки в веночках и пр.) нашли мы краткие записи по поводу тех или других выдающихся событий из жизни дедушки Ивана Афанасьевича, сделанные его рукой. Много интересных дат почерпнул я там. — *Прим. А.В. Живаго.*

** Эти данные любезно сообщены мне Удо Георгиевичем Иваском, собравшим обильный материал по истории нашего рода. — *Прим. А.В. Живаго.*



минается стрелец Иванко Живого, в “писцовой книге” 1626 года “в Соляном ряду за городом за Резанскими вороты” значится “онбар боярина Василья Петровича Морозова дворника* Гришки Живого”. В той же книге читаем: “на черной земле посадского человека Герасима Живого дети боярские Савельевы дети Короваева живут”.

На этих данных, к сожалению, обрываются сведения о представителях рода Живаго и непрерывная последовательность начинается опять лишь Ильей Живаго, а именно: Илья Живаго, пушкарь и затинщик, упоминается в “смертных росписях” 1679—1706 гг. Сын его, Антип Ильич, пушкарский сын, перекрутчик, умер в 1718 году. Он был женат на Матрене Яковлевне. У него было три сына: Василий Антипьевич, рязанский посадский человек, родился в 1688 году. Он был женат на Марине Андреевне, род. в 1689 г., Никон Антипьевич, род. в 1695 г., женатый на Татьяне Гавриловне, и Михаил Антипьевич, род. в 1696 г. Имя жены его, к сожалению, не обнаружено. У Михаила Антипьевича Живаго был сын Андрей Михайлович, рязанский купец, род. в 1731 г., сконч. 27 янв. 1809 г. Он похоронен в Троицком Рязанском монастыре.

Сын вышесказанного Андрея Михайловича, прадед наш Афанасий Андреевич (р. в 1764, сконч. в 1840 г.) жил в Рязани. Его сын Сергей Афанасьевич и поныне считается самым выдающимся гражданином города Рязани. О нем я расскажу в дальнейшем, а здесь упомяну только, что “Приговором” 1863 г. мая дня, подписанным градским головой Фроловым и 67 купцами и мещанами города Рязани постановлено во исполнение желания Сергея Афанасьевича Живаго “чтобы члены городского общества за себя, так и за своих преемников, приняли на совесть наблюдение за поддержкой в приличном состоянии могил его родственников, покоящихся в г. Рязани, а именно: в Троицком монастыре деда Андрея Михайловича, в Спасском монастыре родителей его, Афанасия Андреевича и Марины Ивановны Живаго и в Явленском девичьем монастыре брата, Михаила Афанасьевича” — “вменить себе в приятную обязанность выразить в настоящем Приговоре то,

* Дворник-“смотритель над торговым двором” (см. В.И. Даля “Толковый словарь живого великорусского языка”. 1.376). — *Прим. А.В. Живаго.*



что почитание праха предков и родителей его почитаем для себя священным”.

Мне известно, но уже не помню теперь из каких источников, что в екатерининское время бургомистром гор. Рязани служил Живаго. Надо думать, что сведения эти касаются Андрея Михайловича. Сын его, Афанасий Андреевич (р. 30 апр. 1764, сконч. 9 сент. 1840) был рязанским купцом и градским головой, торговал красным и галантерейным товаром и жил в своем доме. У Афанасия Андреевича было два брата: Георгий Андреевич (1776—1816), рязанский купец и градский голова, женатый на Марии Андреевне (1778—1854)* и Григорий Андреевич, рязанский купец, женатый на Клеопатре Ивановне. От этого брака он имел шесть человек детей: Надежду, Любовь, Павла, Александра и Веру**. Павел Григорьевич женился на своей троюродной племяннице Варваре Васильевне (1840—1908), дочери вышеупомянутой Хионии Георгиевны, по мужу Крутицкой. Павел Григорьевич, окончив курс наук в Императорском Моск. Университете, служил земским врачом в Рязанском уезде, много работал и скончался, заразившись сыпным тифом. Варвара Васильевна занималась акушерской практикой в Москве, часто посещала наш дом и много рассказывала о наших стариках. У Афанасия Андреевича и супруги его Марины Ивановны (1770—1853) было восемь человек детей: пять сыновей: Михаил, Сергей, Иван, Семен и Иосиф и три дочери: Анна, Александра и Мария...

Александра Афанасьевна (род. в 1838 г.) в 1829 г. вышла замуж за Алексея Николаевича Потоловского. Дочери ее: Надежда Алексеевна была женою некоего Коченова, а Любовь Алексеевна вышла замуж за известного в Москве фабриканта кожаных изделий Петра Романовича Бараш (р. в 1822 г.), который ранее, вместе с известным русским портретистом Тропининым, был крепостным графа Маркова. Мы хорошо знали их и их детей: Павла, Илью и уездного врача Нижегородской губернии Александра Петровича и дочерей Варвару, Надежду и Софью.

* Известны имена их четырех сыновей (Алексей, Константин, Александр и Иван) и трех дочерей (Елисавета, Екатерина и Хиония). — *Прим. А.В. Живаго.*

** Относительно числа детей — авторское несоответствие в тексте.



Старший сын Афанасия Андреевича, Михаил Афанасьевич (1792—1858) продолжал отцовское торговое дело; ему передал его отец, задумав в весьма почтенном возрасте пожить на покое. У Михаила Афанасьевича от жены его Александры Михайловны (сконч. в 1866) было двое детей: Иван Михайлович и Александра Михайловна. Иван Михайлович (1836—1907) учился в Московск. Университете, окончил филологический факультет, юношей дружил и даже жил одно время на одной квартире со студентом медиком Григорием Захарьиным, впоследствии знаменитым профессором. Вместе с ним они бедствовали, давая уроки в Петровском Парке, куда ежедневно ходили пешком, запасаясь в булочной более дешевым черствым хлебом и съедая его где-нибудь на лавочке парка.

Помню, как посмеиваясь рассказывал мне Иван Михайлович, что частенько они менялись платьем, когда требовался костюмчик посвежее, часто ссорились из-за пустяков. Покойный дядя, например, не раз ловил Григория Антоновича в краже сахара. Долго он терпел, но наконец счел должным устыдить будущую знаменитость. “Неуживчивого, сварливого характера был и юношей ваш профессор”, — говорил мне однажды Иван Михайлович после хлопот, порученных ему моими родителями по зачислению меня в ординаторы к Захарьину, от каковой чести я тогда же отказался.

Окончив университет, Иван Михайлович несколько лет преподавал в военных корпусах, а затем в Киевской военной гимназии. В 1866 году Обществом любителей коммерческих знаний в составе 68 членов, шестьюдесятью тремя голосами инспектором Московской Практической Академии был избран инспектор Киевской военной гимназии И.М. Живаго, несмотря на то, что среди пяти его конкурентов были такие в то время уже известные ученые, как директор Демидовского лицея В.П. Грифцов и адъюнкт профессор Московского университета Н.С. Тихонравов. Вошел он в Академию в расцвете молодых сил и оставил ее через 30 лет почтенным старцем. “Академия свято чтит высокие заветы Ивана Михайловича и с глубоким чувством искренней признательности ценит его плодотворную деятельность на пользу просвещения юношества”*.

* См. книгу Столетие М. Практ. Академии, стр.193. — *Прим. А.В. Живаго.*



Немало бывших воспитанников Академии, учившихся в период тридцатилетнего инспекторства И.М-ча с раздражением и порицанием вспоминали при мне о своем инспекторе. Были и такие среди них, что, по их заявлению, “обливаясь холодным потом, просыпались ночью, если им приснится их бывший инспектор”. Невольно хотелось их спросить, учились ли они со старанием, не были ли лентяями, распущенными хулиганами или не было ли каких других причин, которые хронически вызывали неуравновешенность их нервной системы?

“Иван Михайлович казался строгим человеком и своим внешним видом, всегда сосредоточенным и даже суровым, внушал нам более боязнь, чем расположение, но на самом деле это был всегда ровный, обходительный и справедливый человек. По свойствам души Иван Михайлович принадлежал к типу скромных людей, не любивших рекламы и говора о своих достоинствах, не в его характере было напоминать о себе и подчеркивать все сделанное им”, — вот что говорят о нем другие. Знаю я только одно, что говорилось всеми: Иван Михайлович любил свое дело и служил для всех примером честного и строгого исполнения своего долга.

Он преподавал в некоторых классах Академии, будучи весьма выдающимся лингвистом (таких вряд ли много насчитаешь и ныне) и знатоком русской словесности. Он горячо любил исторические знания и искусства. Не часто, но приходилось и мне слушать его увлекательные беседы. Иван Михайлович, не жалея сил, много работал по ночам, как кабинетный ученый, его одолевала жажда знаний. Его супруга, Софья Васильевна, происходила из очень образованной и весьма культурной семьи Флеровых. Отец ее был известным цензором, а брат, Сергей Васильевич, вначале учитель и инспектор гимназии, впоследствии был весьма известным театральным критиком; он писал свои театральные, подчас крайне оригинальные фельетоны в “Московских Ведомостях”, подписывая их псевдонимом “С. Васильев”. Кто из моих сверстников не помнит этого краснолицего, седого, изящного романтика в пенсне на носу и с пудрой на лице?

Его, большого поклонника и даже друга Леонтьева и Каткова, многие считали юродивым и ультра-правым, но вряд ли было много



таких, кто не считались с его действительной талантливостью, с его начитанностью и фундаментальным знакомством с историей искусств.

В доме Ивана Михайловича подолгу проживала и сестра его, Александра Михайловна (сконч. 27 дек. 1904 г.), очень некрасивая старая дева. Ее я видал только за книгой или за переводами; она также отлично знала языки, и ей также не чужд был романтизм.

У Ивана Михайловича было четверо сыновей и одна дочь. Старший сын, Сергей Иванович, был профессором Томского университета, Владимир Иванович, окончивший техническое училище, инспекторствует в Училище Московского Технического общества, Василий Иванович состоит преподавателем в нескольких учебных заведениях и считается тонким знатоком русской словесности, Петр Иванович преподает естественные науки и, кажется, состоит профессором Московского университета.

Весьма симпатичный талант художницы и превосходной иллюстраторши и писательницы для детей у дочери Ивана Михайловича, Надежды Ивановны. Она много работала за границей и ею иллюстрировано весьма много популярных книг по различным специальностям.

Все дети Ивана Михайловича вышли в отца, отличаясь крайней скромностью в наш шумный век, полный самых идиотских реклам и выдающейся назойливости.

В заключение отмечу курьез. Строжайший монархист, убежденнейший консерватор, покойный Иван Михайлович, прослужив уже более 25 лет и будучи уже давно действительным статским советником, случайно, от пристава своего участка узнал, что числится в списках неблагонадежных с самого студенчества и все еще находится под негласным надзором у полицейского начальства. Эта хроническая “отрыжка” Николаевской эпохи должна считаться весьма характерной среди симптомов больного существования нашего типично полицейского государства.

Вторым сыном Афанасия Андреевича был Сергей Афанасьевич (1794—1866). Мне не удалось установить, чем занимался покойный дедушка, прибыв в Москву из Рязани, до того времени, когда в 1822 году он основал первый в Москве военно-офицерский магазин и



при нем “волочительных дел фабрику”. Офицерскими вещами дотеле торговали в Москве в галантерейных лавках. Тетушка Клавдия Ивановна Величко рассказала мне, что отец ее, Иван Афанасьевич, говаривал не раз, что долго ему, перебравшемуся в Москву ранее брата, пришлось уговаривать Сергея Афанасьевича открыть магазин; долго он, будто бы, не мог решиться на казавшийся ему рискованным шаг. Убеждая брата, Иван Афанасьевич даже предлагал ему принять условие “мои убытки, барыш твой”.

Взяв пример с Петербурга, где тогда уже существовали два офицерских магазина, покойный дед скоро очень хорошо поставил свое, новое для Москвы, дело в доме Алексеевых (ныне Гусачевой) на Тверской улице. В благодарность брату Ивану за настойчивые и добрые советы, Сергей Афанасьевич, согласно рассказу тетушки, Клавдии Ивановны, предложил Ивану Афанасьевичу разрешить пристроить к своему делу его сына, нашего отца, тогда 18-летнего Василия Ивановича; он желал видеть его своим помощником, обучить и заботиться о нем, как о родном сыне. В 1846 году, окончив курсы наук в Петропавловском училище, покойный отец мой, Василий Иванович, уже работал в деле своего уважаемого дяди.

Сергей Афанасьевич пользовался глубоким уважением лиц, знавших его. Его большой ум, твердый характер, изысканно изящное обращение с людьми всех рангов, честность, доброта и скромность были тому причиной. Весьма требовательный к окружающим, он с не меньшей требовательностью относился и к себе, любил порядок и аккуратность и окружал себя людьми, строго разбираясь в их достоинствах. Написанные братом его, профессором живописи, Семеном Афанасьевичем портреты, весьма точно передают его облик.

Женат он был на Екатерине Александровне Москвиной (1813—1886), близкой родственнице старинных и уважаемых в Москве семей Крестовниковых и Алексеевых. ...Ее сестра, Елизавета Александровна, была супругой Владимира Семеновича Алексева, у которого от нее было трое сыновей: Александр, Сергей и Семен. Константин Сергеевич Алексеев пользуется ныне большой



известностью под фамилией Станиславского. У Сергея Афанасьевича и Екатерины Александровны была единственная дочь, Елизавета, скончавшаяся к великому горю родителей нескольких месяцев от рождения.

Плохо помню я дедушку Сергея Афанасьевича, он умер после тяжелой операции над карбункулом 3 августа 1866 года, когда мне не было еще 6-ти лет. Его могила в Покровском монастыре рядом с супругой, Екатериной Александровной, умершей в 1886 году.

Дядя Сергей Афанасьевич очень любил и ценил своего племянника Василия Ивановича, сделав его скоро компаньоном своей фирмы. После Крымской войны он передал дело отцу с условием ежегодной выплаты ему 6000 рублей. Мои родители часто подолгу рассказывали нам о своем любимом и уважаемом дяде, ставя его примером добродетельной жизни по твердо и неуклонно намеченным планам. По словам отца, он презирал людей лживых, неискренних, лениво относившихся к труду, не любил кутил и мотов, без заискивания относился к людям высокопоставленным и, требуя дельной работы, не обижал малых, часто выводя в люди и обеспечивая хорошее существование тех, в честности и деловитости которых он убеждался. Он поддерживал мастеровой люд, давая им работу и помогая им устроиться. Старый еврей, военный портной Иосиф Абрамович Неменский, десятки лет спустя, вспоминая своего благодетеля, со слезами благодарности говорил о покойном Сергее Афанасьевиче. То же приходилось нам нередко слышать и от других.

Дядя жил в своем доме в Газетном переулке в приходе старенькой маленькой церкви Успения на Вражке, где был церковным старостой. В конце 50-х годов задумал он построить новый храм. Решив лично вложить в это святое дело весьма значительную сумму из своих средств, он открыл подписку среди прихожан и своих многочисленных знакомых. Брат его, Иосиф Афанасьевич, рассказывал нам, между прочим, что часто, когда не хватало денег на то или другое по постройке храма, от братца поступали новые пожертвования, записывавшиеся “от неизвестного”.



Приступил Сергей Афанасьевич к постройке храма, утвердив наиболее понравившийся ему и отличавшийся смелой новизной план. А задачей его, скажу кстати, весьма удачно разрешенной, было построить такой храм, где просторы и свет были бы в единении с неперменным условием, чтобы с каждого места, где бы не стоял богомолец, было бы видно ему все богослужение. Десять легких металлических колонн простого, но весьма изящного рисунка были, если не ошибаюсь, заказаны во Флоренции и водруженные в громадном и высоком зале, оказались вполне достаточными, чтобы, не загромождая, нести на себе всю тяжесть перекрытий потолка. Главный алтарь и алтари двух боковых приделов расположены по одной почти выпрямленной линии, высоко царя над амвоном, к которому ведут широкие ступени.

Художественно прекрасная живопись иконостаса исполнена братом Сергея Афанасьевича, академиком и профессором живописи, Семеном Афанасьевичем, привлечшим к работе по украшению храма иконами и весьма немногочисленными фресками других видных художников-друзей. Так, дивное запрестольное Распятие написано известным художником профессором Марковым.

Храм был готов в 1860 году*. Предстояло торжество его освящения. Сергей Афанасьевич просил владыку митрополита Филарета не отказать освятить храм. К удивлению дяди последовал отказ, как говорили, мотивированный тем, что храм по внутреннему своему виду отстает от требований православного храма. Обиженный отказом владыки, дядя, отличавшийся стойким и непоколебимым характером, приказал ответить митрополиту, что съездит в Петербург и попросит освятить храм тамошнего высокопреосвященного. На другой же день Филарет прислал сказать, что прибудет на освящение лично.

После торжественного служения владыка выражал свое величайшее удовольствие и благодарил храмоздателя, подарив ему золотую медаль большого размера, полученную им за коронацию императора Александра II.

* В настоящее время в помещении церкви располагается междугородный телефонный узел.



Высокоуважаемый отец настоятель храма заслуженный протоирей Василий Михайлович Сперанский, торжественность службы, благочиние, порядок и чистота в храме скоро сделали этот храм излюбленным не только для прихожан, но и для весьма многих аристократических семейств Москвы. Обедни начинались поздно, пение было превосходно, нередко в числе певцов здесь слушали выдающихся оперных артистов, и Газетный переулок бывал запужен экипажами, свозившими сюда богомольцев даже с далеких окраин широко раскинувшейся Первопрестольной. Замечу, кстати, что, когда хоронили почившего отца настоятеля Василия Михайловича, съезд почитателей его был так велик, что далеко еще не все сели в экипажи при выходе из церкви, когда головной конец с гробом почившего уже был на пересечении Кузнецкого моста и Большой Лубянки...

Не желал покойный дядя Сергей Афанасьевич порвать связь с Рязанью. Он задумал сделать доброе дело — помочь горожанам своего родного города. Еще в 1854 году он внес в Московскую Сохранную казну 10000 рублей на имя рязанской городской Думы на вечное время с тем, чтобы проценты с этого капитала употреблялись ежегодно на пособия бедным лицам купеческого и мещанского звания г. Рязани. В начале 1862 года было издано новое Положение о городских банках, и Сергей Афанасьевич 30 ноября того же года уже обратился к городскому обществу родного города с заявлением, что он жертвует на учреждение Городского банка в Рязани 20000 рублей в основной капитал...

Он желал, чтобы прибыли Банка распределялись следующим образом: 1) в основной и запасной капиталы — по 10%; 2) 20% на учреждение родовспомогательного заведения; 3) 30% на учреждение приюта для несчастнорожденных младенцев и при нем ремесленного училища; 4) 20% на выдачу пособия бедным девицам купеческого и мещанского звания при выходе замуж; 5) 10% на больницу и училище при Женском Казанском монастыре и 6) 10% на нужды города. Городская Дума с глубокой благодарностью приняла предложение Сергея Афанасьевича и составила особый приговор об учреждении Банка. Разрешение городу Рязани учредить банк было получено 30 апреля 1863 года, а 1 июля того же года был уже открыт “Общественный Банк С. Живаго”.



Прошло 50 лет с момента возникновения этого учреждения, 1 июля 1913 года был торжественно отпразднован юбилей его, и вниманию собравшихся были представлены таблицы деятельности Банка за 50 лет. На первый взгляд кажется невероятным, чтобы эти 20000 рублей, пожертвованные городу, принесли ему уже 2,5 миллиона чистой прибыли. Из сравнения, по данным кредитной канцелярии министерства финансов, за январь 1912 года устанавливается, что из ныне функционирующих провинциальных учреждений этого типа Рязанский Общественный Сергея Живаго Банк занимает весьма видное в России 10-е место, имея вкладов на сумму более 3 миллионов рублей. Люди с лучшими заветами русской старины сохранили и возвеличили детище покойного деда и тем дали возможность процветать на пользу и благо особенно беднейшим гражданам города, целому ряду высокогуманных учреждений, связанных с деятельностью общественного Банка С. Живаго...

Купеческое сословие Рязани благодарно хранит светлую память Сергея Афанасьевича, хранит его портрет и письмо его, где он выражает желание "...чтобы и в настоящем поколении рязанских граждан и в будущих более и более укреплялось сознание, что для достижения прочного благосостояния — один надежный путь — путь усиленного и честного труда и что всякий, кого Бог благословил счастьем, хотя бы вдали от родины, должен помнить, что Божье благословение будет прочно только в том случае, если он, трудясь, не будет забывать ближних своей родины."...

Немного, к сожалению, могу я порассказать о покойном моем деде, Иване Афанасьевиче (1800—1869), которого я помню лично. Не знаю почему, он припоминается мне, тогда 8—9-летнему мальчугану, вечно сидящим в халате в большом вольтеровском кресле и почему-то всегда в зале недалеко от двери на балкон. Тут, помню, он благословил брата Романа и меня и вручил нам по тому истории Ветхого Завета, сделав предварительно соответствующие надписи на книгах... Дед умер в своем доме на углу Большой Дмитровки и Салтыковского переулка; на воротах дома, перешедшего впоследствии к моему отцу, долго еще красовалась надпись "Дом степенного гражданина Ив. Аф. Живаго". Иван



Афанасьевич записал в своем альбомчике так: “В 1837 году янв. 10-го куплена мною земля на углу Б.Дмитровки и Салтыковского пер. за 5000 рублей асс., строить начал июня 18 дня, к 1 октября 1838 года дом был окончен, а 10-го того же года мы переехали в него.”

По словам его дочери, тетушки Клавдии Ивановны Величко, сюда при этом и был переведен с Лубянской площади принадлежавший ему рейнсовый погреб, для которого он отстроил обширные подвалы. Здесь в первые года особенно хорошо шла его торговля.

Покойный дедушка Иван Афанасьевич совсем юным покинул Рязань и прослужив несколько лет в какой-то торговле, открыл в Москве, кажется, первый погреб иностранных вин. На уголке громадного дома Шипова на Лубянской площади против весьма старинной церкви Гребенской Божьей Матери (где крестили отца, Василия Ивановича) он несколько лет торговал дорогими иностранными винами, не имея солидных конкурентов. У него закупала Москва рейнские вина, токайские, венгерские хереса и мальвазии. При его погребе была и разливная, где купора разливали вино из бочек в бутылки.

Дом Шипова, переполненный лавками и жильцами, горел не раз, а погреб деда не страдал ни разу. Говорили старики, я отлично помню это, что пожарные всегда отменно отстаивали помещение, в котором во время пожара с приятностью проводили время брандмайор или брандмейстеры, большие знатоки и любители дедушкиных вин.

Замечу здесь, кстати, что и на моей памяти дом Шипова, казавшийся в то время действительно громадным, горел костром два раза, в конце 60-х и в первой половине 70-х годов. Мне особенно памятен этот последний грандиозный пожар, превративший дом в развалины. Москва тогда особенно жалела сгоревший при этом очень полюбившийся ей большой музей восковых фигур и паноптикум немца Гасснера. Не раз и я забегал в его недра и пугливо вместе с толпой рассматривал несчастных восковых мучеников испанской инквизиции, с ужасом всматривался в муляжи тяжелых поражений кожных покровов и внутренних органов, причиняемых



венерическими и кожными болезнями. В это отделение публика пускалась в очередь, группами из заинтересованных кавалеров и дам.

Покойный генерал-губернатор кн. В.А. Долгоруков сам нередко посещал музей Гасснера и любовался его восковыми Аспазиями и Клеопатрами и восхищался вместе с нами “механической утки, который кушит и чрез несколько фремени отдает то, што ей нэ нушно”. Объяснявший немец обегал при этом зрителей с двумя блюдечками, на одном из которых он показывал то, что его “умный утки сичас будит кушить”, а на другом, будто бы, после целого ряда химических процессов в утином кишке нам демонстрировалось то, что “этот утки” обычным путем извергает. Мы даже всему этому, да и многому другому, мало удивлялись, отлично памятуя, что “немец обезьяну выдумал”. Здесь же впервые показывался публике и фонограф...

Покойный дед, по словам отца, часто брал с собой своего Васю и ходил с ним по разным балаганам ловких фокусников, показывавших “говорящие головы”, курящих в аквариумах дев, искусных дрессировщиков, дрессировавших всякую тварь до блох включительно и шарлатанов, влезавших целой семьей в пивную бутылку и угадывавших мысли “верноподданных”...

Иван Афанасьевич был женат два раза. Мать отца, Василия Ивановича, Мария Андреевна происходила из известного в Москве рода Макеевых. Детей от этого брака у Ивана Афанасьевича было пятеро: 4 сына и одна дочь. ... В 1839 году ... Мария Андреевна скончалась от тяжелого воспаления после родов, оставив 11-летнего сына Василия и новорожденного, вскоре умершего сына Ивана...

Слыхал я, что мать бабушки Марии Андреевны, Ольга Степановна Макеева, в молодые годы отличалась строгой красотой; не раз, будто бы, на дворцовых балах ее приглашал на танцы император Николай*.

* Сестра ее, Настасья Степановна, была родителями выдана замуж за Ивана Васильевича Попова... Он занимался комиссионерством и не раз ездил в Китай. Дочерью Поповых и была Юлия Ивановна Костромитинова, которую мы все очень любили; детьми еще бывали мы в ее именице “Дулепово”. Ее муж Петр Степанович много лет служил консулом в Сан-Франциско, а затем правительственным агентом на о. Ситха. Крайняя щепетильность не позволила ему даже самым честнейшим образом нажать хорошее состояние во время золотой горячки в Калифорнии. Вернувшись на родину, П.С. Костромитинов купил себе маленькое имение при селъце “Дулепово” Клинского уезда Московской губернии. Здесь он прожил недолго, оставив на руках вдовы большую семью. — *Прим. А.В. Живаго.*



В 1840 году Иван Афанасьевич женился во второй раз на Александре Андреевне Пятницкой (1822—1889)... Дед служил бургомистром в 1-м департаменте Московского городского магистрата и заседателем в 1-м департаменте Московской палаты гражданского суда. Как бывший бургомистр он и носил звание степенного гражданина.

Нас, старших детей, нередко водили к маменьке Александре Андреевне, как ее называли родители. Мы старались избегать сурового на вид, неразговорчивого старика деда и подолгу вертелись вокруг доброй бабушки Александры Андреевны, любившей рисовать. Нельзя забыть ее паяцев, которые плясали благодаря системе искусно связанных ниток, ее девочек в соломенных шляпках и в старомодных длинных панталончиках, выглядывавших из-под полусферических юбок, ее собачек с круто загнутыми кверху хвостами. Часами простаивали мы перед стеклянными дверями на балконе, замазанными на зиму, между которыми на ватной подстилке ежегодно к новому году бабушка устраивала всегда новую, довольно сложную картину. Тут были и снеговые горы, с которых катились на салазках девочки в летних костюмчиках, виднелись конькобежцы на зеркальных прудках, паслись стада, неслись охотники, шли процессии и проч. С длинной папиросой ароматного “мериленд-ду” в зубах бабушка с милой улыбкой давала нам свои объяснения.

Из окон ее дома, у подъезда выкрашенного охрой Лицея Цесаревича Николая мы часто видели дружественно болтавших и часто лобызавшихся на прощание Михаила Никифоровича Каткова и горбуна Леонтьева. Здание Лицея вскоре было покинуто строгими богами классического мира. Под аккомпанимент задорной музыки в него влетели музы самого фривольного характера. Год от года все более росла слава кафешантана “Салон де Варьете”; из летнего сада Берга сюда впервые на зиму стали собираться кафешантаннные этуали, куплетисты, фокусники.

Позднее, здесь несколько лет подряд отличалась любимица публички Кадуджа, а в дешевеньком еврейском квартете, отжаривавшем свою знаменитую “Паулину”, первую роль играл прославившийся ныне за границей антрепренер и даже оперный композитор... Рауль Гинцбург...



Немного сведений сохранилось у меня о четвертом сыне Афанасия Андреевича, дедушке Семене Афанасьевиче (1805—1863). Жизнь его прошла не без заметного следа для русского искусства. В жизни его громадную роль сыграла случайность, и по этому поводу я постараюсь передать то, что о нем мне не раз приходилось слышать от наших стариков.

Патриархально поживая в рязанском своем доме... прадед Афанасий Андреевич, имея уже двух взрослых сыновей, занятых в Москве своими новыми коммерческими делами, бывал часто недоволен поведением подраставших сыновей, Семена и Осипа. Особенно беспокоил его 17-летний, только что кончивший учиться в городской школе, сын Семен. Он убегал частенько из дома, дрался, играя в бабки и был специалистом по разрисовке городских заборов, за что его нередко били и с жалобами приводили домой не признававшие его художественных способностей и стремлений обыватели. Не зная куда и как пристроить сынка, Афанасий Андреевич написал в Москву сыну Ивану письмо, в котором просил взять Сеню в дело — “может погодится и образумится”. Охотно согласился Иван Афанасьевич, взял брата в свой рейнсковый погреб и прилагал заботы к его исправлению. Посмирнел Семен в Москве, но делом занимался плохо — оно не интересовало его. Сидит себе где-нибудь в углу и чертит что-нибудь, несмотря на насмешки приказчиков и купоров. Не имея карманных денег на покупку карандашей и бумаги, он стал где попало таскать пятаки и гривенники и рисовал целыми днями, счастливый тем, что в Москве он имел уже большую возможность находить хоть какой-нибудь художественный материал, с которого мог усидчиво копировать. Люба ему была всякая гравюрка, литография или рисунок, подбирали он их везде, где только мог. Так прошло года три. Семена Афанасьевича оставляли в покое и даже давали денег на покупку рисовальных принадлежностей и он “...чувствуя влечение к искусству, выучился рисовать почти без наставников” — так сказано в его краткой биографии (Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона).

В 1826 году в Москве готовились к торжеству коронации императора Николая. Однажды в рейнсковый погреб иностранных



вин деда Ивана Афанасьевича заехали какие-то важные военные и заявили, что им поручено выбрать вина для завтрака, который Великий князь Михаил Павлович даст императору в своем дворце. Долго сидели адъютанты Великого князя, дегустируя и отбирая различные вина и вдруг видят, что по комнате проходит молодой человек, пронося какой-то лист картона. Заинтересованные этим появлением, офицеры задержали юношу и стали с нескрываемым удивлением рассматривать очень будто бы интересный рисунок.

Передававшие мне об этом событии добавляли, что на большом листе Семен Афанасьевич изобразил чью-то Мадонну с Младенцем, скопировав ее с очень маленькой гравюры и весьма значительно увеличив ее размеры.

Расхвалив рисунок, офицеры стали расспрашивать застенчивого юношу, где он учился рисовать и проч. Молодой человек молчал и мялся, а кто-то из служащих, будто бы, стал просить пристроить его по малярному делу “благо коронация и работы много”. Кончилось тем, что, спросив разрешение, военные увезли с собой рисунок Семена Афанасьевича, заявив, что покажут его Великому князю Михаилу Павловичу. В биографии читаем мы так: “В 1826 году он подал образчик своей работы Великому князю Михаилу Павловичу, который принял молодого человека под свое покровительство и способствовал к его поступлению в ученики Спб. Академии Художеств на казенный счет.” Мне же кроме того, рассказывали некоторые подробности о том, каким образом устроилось дело поступления Семена Афанасьевича в Академию.

В коронационные дни в военно-офицерский магазин Сергея Афанасьевича как-то зашли по своим делам какие-то военные и между прочим спрашивали хозяина магазина, кем ему приходится тот художник-самоучка Живаго, которым заинтересовал императора Николая Великий князь. Ничего не слышавший о ранее случившемся и крайне удивленный всем этим, Сергей Афанасьевич, наконец, догадался, что героем происшествия является, по всей вероятности, брат Сеня, и на вопрос о родителях молодого человека дал военным рязанский адрес отца, Афанасия Андреевича.

Прошло несколько месяцев и наступил новый год, рассказывали мне далее мои старики, и вот, однажды поздно вечером на святках



раздается стук в ворота мирно почивавшего рязанского дома Афанасия Андреевича. Переполох. Сбежавшиеся люди докладывают прадеду, что его желает видеть курьер Его Величества. Донельза встревоженный, Афанасий Андреевич просит принять, наспех одевается, не забыв, будто бы, надеть на шею свою медаль, выходит и усаживает нежданного гостя и спрашивает, чему обязан видеть его у себя. Чуть ли не обморок случился с беднягой, когда курьер начал свою речь с вопроса, есть ли у него сын Семен. Строгости того сурового времени, бездельник сын, плохо зарекомендовавший себя в глазах отца — все это подействовало на то, что мысли старика спутались, подавленный неожиданностью он растерялся и не скоро пришел в себя. Курьеру пришлось его успокаивать и сообщить радостное известие, что, находясь по государевым делам в Рязанской губернии, он имеет поручение к городскому голове, состоящее в том, что Его Величеству милостиво угодно знать, выразит ли он, Живаго, согласие на поступление сына его, Семена, в Академию Художеств на казенный счет. Низко кланялся старик, растроганный высочайшим вниманием и сильно волнуясь, повторял: “возьмите-с, возьмите-с его.”

Здесь считаю уместным сделать выписку из биографии Семена Афанасьевича: “Ближайшим его руководителем по Академии был профессор Варнек. Получив в течении академического курса две серебряные медали, Живаго окончил свое образование со званием художника XIV кл. и вскоре затем отправился на собственный счет в Италию, где написал копии с картин “Видение Иезекииля” Рафаэля, “Мадонна делла пьета” Гвидо Рени, “День” Корреджо (находятся в музее Академии Художеств) и собственные композиции: “Ева”, “Бегство в Египет”, “Неверие апостола Фомы” и др. За эти работы, по его возвращении в СПб., в 1839 году, он был признан академиком.

В 1842 году получил звание профессора за образ “Крещение Господне.” С 1848 по 1850 г. служил при петербургской таможене экспертом по отличению привозимых из-за границы художественных произведений от промышленных.

В 1850 году переехал на жительство в Москву, где и трудился до конца своей жизни.



Из картин С.А. Живаго, сверх упомянутых выше, заслуживают внимания образа в Исаакиевском соборе: “Моление о чаше”, “Тайная вечеря” над царскими воротами, десять изображений ветхозаветных патриархов и пророков в 3-м ярусе главного иконостаса и в некоторых московских и рязанских церквях. Он занимался также портретной живописью.” (Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона).

Немалая честь для художника того времени была получить заказ написать образа для иконостаса Исаакиевского собора. Здесь он работал вместе с Нефом и Бруни. “Тайная вечеря” увековечена мозаикой; в течение 10 лет над этой работой трудились восемь лучших русских мозаичистов.

В церкви Успения Божьей Матери в Газетном переулке им написаны все местные иконы, хранящиеся ныне под стеклами, образа иконостаса. На северной стене храма находится его громадное, но, к сожалению, сильно почерневшее полотно “Сошествие Святого Духа”. Я всегда восхищался прекрасной его картиной “Святое семейство”, которая долго висела в гостиной бабушки Екатерины Александровны; несколько лет тому назад она повешена на западной стене храма над церковным ящиком. Это было разрешено духовным начальством после того, как один из приглашенных художников набросил маленькое белое полотнище на тазовую область Младенца.

Рассказывали также, что дед, лежа на спине на высоких подмостях, долго украшал фресковой живописью потолок храма, замучивая труднейшими позами натурщиков и не выпуская из рта своей любимой трубки с жуковым табаком.

Нельзя здесь не привести курьезнейшего рассказа его брата, дедушки Иосифа Афанасьевича, который передавал, что брата Семена погубил табак. Он так много курил, что, будто бы, когда его в бане на полке завертывали в простыни, то снимая их, удивлялись коричневой окраске тех их частей, что прилегали к груди, — “это табак их красил”, — добавлял он серьезно...

В нашей коллекции есть несколько портретов родных Семена Афанасьевича, написанных им в разное время и незаконченный карандашный эскиз его “Тайной вечера”, который мне удалось



получить по смерти деда Осипа Афанасьевича. В моем же собрании сохраняется превосходный, его же работы, масляный портрет одного из купцов дедушки Ивана Афанасьевича, Ивана Петровича Волкова. Осужденный за убийство и получив 12 ударов плетью, Волков был сослан в Сибирь на бессрочную каторгу. Четыре года провел он в кандалном отделении, а затем, признанный при новом рассмотрении дела невиновным, был возвращен на родину, получив от правительства вознаграждение в 100 рублей ассигнациями. Он поступил вновь в разливную деда, где и служил до самой смерти.

Отец мой Василий Иванович, рассказывавший мне об этом, хорошо помнил его уже старым, поседевшим. Он добавлял, что до самой смерти никто не видал улыбки на лице молчаливого Ивана Петровича, а во взгляде его умных голубых глаз, каких-то скорбно-сосредоточенных, ясно отражались те тяжелые душевные муки, которые пришлось перенести ему, невинно пострадавшему*...

Семен Афанасьевич весьма слабо представлен в собрании Третьяковской галереи — там находится очень небольшой масляный (образного письма) малоудачный эскиз той же “Тайной вечера”, совершенно не характерный для талантливой руки художника...

Умер Семен Афанасьевич от хронического воспаления легких 58 лет от роду 27 марта 1863 года и похоронен на Волковом кладбище в Петербурге. Мне было тогда около двух с половиной лет. Смеясь, рассказывала не раз покойная моя мать, что он засиделся у нее, болтая об Италии, именно 28 августа 1860 года**. “Я мучаюсь родовыми болями, а он все сидит и не уходит, насилие его выпроводили... вот отчего, должно быть, и у тебя способности к рисованию”, — добавляла она, добродушно посмеиваясь***.

* Старый заслуженный профессор антропологии и этнографии Московского университета Дмитрий Николаевич Анучин, посетив меня, долго любовался этим превосходным портретом и черты лица Ивана Петровича находил типично славянскими. — *Прим. А.В. Живаго.*

** День рождения автора воспоминаний А.В. Живаго.

*** У меня хранится письмо Семена Афанасьевича к матери, написанное им в 1861 году из Петербурга, где он, между прочим, спрашивает обо мне, шлет матери поздравление с ангелом... “У вас в Москве, — пишет он далее, — la signora Ristori (г-жа Ристори), я думаю, вся Москва заговорила по-итальянски, у нас здесь в Петербурге все от Ристори этой говорят по-итальянски, а слово quasi так и в журналах во всех живет. Прогресс во всем без оглядки. Я не видал еще Ристори, в этом признаюсь только Вам, не выдайте меня сраму и поношению...” — *Прим. А.В. Живаго.*



Говорили помнившие деда Семена Афанасьевича, что он совершенно не интересовался своими домашними делами, да и жен своих не приучал. Не раз, будто бы, его обворовывали дочиста...

Про раннюю юность моего отца, Василия Ивановича (1828—1889) многого порассказать не могу. Как уже пришлось упомянуть, он в возрасте 11 лет остался на руках отца. Мать его, Марья Андреевна, скончалась, простудившись после последних родов. Кто учил отца грамоте, не знаю, знаю только, что когда он подросток, отец отдал его пансионером в школу при лютеранской церкви Петра и Павла. Там он хорошо учился и за успехи не раз приносил домой наградные книги, одну из которых в темно-синей обложке и с немецкой надписью я видел, ее берегли и показывали мне братья его, Алеша с Сашей.

В 18-летнем возрасте, по окончании училища отец был взят в дело дядей его, Сергеем Афанасьевичем, который его полюбил за исполнительность и аккуратность. Дядя Сергей Афанасьевич очень хорошо поставил свое, новое для Москвы военно-офицерское дело. Нередко, как говорили, он посылал своего племянника в Петербург, когда ему необходимо было наводить те или другие справки в министерствах или завязывать сношения с фирмами Скосыревых и Фокина, от которых он часто выписывал образцы своих офицерских товаров.

Магазин аккуратно исполнял заказы, строго относясь к установленным формам. Помнится, говорили, что дедушка не один раз отказывался от орла и звания придворного поставщика, получить которые ему не было затруднительным. Он имел на это право, так как обычно его магазин поставлял различнейшие обмундировочные вещи ко Двору, а в те времена государи нередко приезжали и гостили в Москве. Свой отказ хлопотать по этому делу дедушка мотивировал тем, что не потерпел бы лишения звания, как в одном хорошо памятном ему случае. На каком-то высочайшем приеме строгий формалист, император Николай был возмущен и рассержен, увидав на одном из гражданских чиновников треугольную шляпу совершенно своеобразной формы и чрезмерной высоты. Наведены были справки, установили, где делалась фантастическая шляпа, и дедушкиного соседа, какого-то шляпника,



лишили звания придворного поставщика. “Много их, фантазеров, за всех не ответишь,”— говорил после этого дед.

Большого труда стоило Сергею Афанасьевичу, а вскоре и отцу приучать к делу приказчиков и мастеров-эполетчиков. Связать ленту, сплести аксельбант, а главное, знать все тончайшие отличия разнообразнейших весьма нарядных в то время обмундирований, необходимое здесь умение “разбирать полки” было делом далеко не легким. Служащие уважали и побаивались своего требовательного хозяина. Многие из них, а равно и из мастеров-эполетчиков служили весьма долго. Я помню старенького очень симпатичного Бориса Михайловича, целыми днями крутившего свои эполетные подвески разной толщины, а он поступил в мастерскую мальчиком.

Сергей Афанасьевич потребовал, чтобы мой отец переехал жить к нему в дом в Газетном переулке. Приведу здесь один курьезный эпизод из холостой жизни отца в доме дяди. В разгар шумной пирушки на благословении одного из молодых дальних родственников нашей фамилии, жених отозвал в сторону своего будущего шафера Василия Ивановича и, вручая ему объемистый сверток, просил освободить его от накопившегося у него пикантно-порнографического художественно-литературного материала, ссылаясь на то, что теперь у него уже не будет возможности хранить его. Отец охотно согласился и, выйдя в прихожую, велел положить сверток в карету Живаго. Задержавшись на балу несколько долее своих дам, Сергей Афанасьевич, вернувшись домой, застал жену Екатерину Александровну и племянницу Елену Семеновну в блаженном неведении рассматривающих на столе залы художественные произведения совершенно неподобающего свойства. Пораженный и взволнованный Сергей Афанасьевич с гневом обрушился на вскоре вернувшегося домой племянника, требуя объяснений. “Растерянный, сконфуженный стоял я перед дядей, — рассказывал отец, — сообщив о просьбе друга, винил себя за рассеянность, говорил о том, что совершенно забыл, что наших карет было две, и, наконец, кое-как успокоил дядю”. “Так и не удалось мне самому познакомиться с злосчастным, интересным, должно быть, собранием всякой нечисти удружившего меня приятеля,” — сожалел покойный отец.



Вставая рано, дед требовал, чтобы Васенька пил с ним вместе утренний чай. “Всякое бывало, — говорил отец, — другой раз не доспишь, вернувшись поздно домой или угодишь к пенатам к утреннему чаю, умоешься и идешь в столовую приветствовать дядю с добрым утром, а в течение дня и виду не покажешь, что не спал.”

Сидеть в магазине молодежи не полагалось, да и некогда было. Нет покупателей, готовили товар к отправке в провинцию или писали счета. Бывали года, когда торговали особенно хорошо. Празднества, приезды Двора, войны давали магазину хорошие заработки; особенно хорошо поторговали в Крымскую кампанию, когда наш отец Василий Иванович уже несколько лет был компаньоном своего дяди. Вскоре после Крымской войны дедушка передал свое дело отцу, обязав его платить ему ежегодно по 6000 рублей.

В 30-летнем возрасте отец задумал жениться и обзавестись семьей. Образованный вполне достаточно по тому времени, начитанный, скопивший хорошие деньжонки, дельный, вращавшийся в хорошем обществе, хорошо говоривший на французском и немецком языках, большой любитель театра и верховой езды, изящно одевавшийся у своего друга Циммермана, известного портного на Кузнецком мосту, Василий Иванович был завидным женихом. Привыкнув уважать и любить своего дядю, расположением и любовью которого он пользовался, он прежде чем решиться на этот шаг, много часов провел с Сергеем Афанасьевичем и его доброй женой Екатериной Александровной, прося их совета и руководства.

О знакомстве его с матерью Евдокией Родионовной, урожденной Востряковой (1838—1912), начавшемся 15 декабря 1857 года, о “решении условия брака” — 30 декабря, о благословении 3 января 1858 года и венчании 22 января довольно подробно рассказывает мать в своих милых записках, написанных ею за год до смерти... Отец увлекся 20-летней красивой девицей Востряковой, он показал ее родным. Не всем из них понравилась она, а некоторые находили ее больной. По рассказам матери, у нее в то время разыгралось сильное малокровие. Старики, сверстники ее,



говорили не один раз, что мамаша была хорошенькой молодой девушкой. О том же говорит старенький дагерротип, хранящийся ныне у меня;..

После свадьбы молодые скромно устроились в нижнем этаже дядино дома в Газетном переулке. Порешили родители называть своих детей “если Бог благословит”, именем того святого, память которого празднуется в день рождения. 18 ноября 1858 года в 10 ч. 10 мин. вечера родился первый сын; Романом и назвали его. Августа 28-го 1860 года в 12 ч. 40 мин. появился на свет Божий автор этих записок. Заглянули в святцы, а там на этот день не понравившиеся мамаше имена святых Саввы и Моисея. Отец настаивает на одном из них “как решили”, мать в слезы и дело дошло до приглашения почтенного духовника и приходского батюшки о. Василия Михайловича Сперанского. Тот высказался в пользу матери, пожелавшей наименовать меня Александром “благо у сестер по сыну Александру, да тезоименитство близенько”, и окрестили меня, чуть ли не первым в новоотстроенном дедом храме Успения Божьей Матери, что на Вражке.

Со слезами на глазах вспоминала покойная мать о тех варварских приемах, которыми пробовала помогать роженице какая-то фамильная повитуха. Бедную мать ставили “на распялку” к печке, клали на гладильную доску, уже не помню чем, но чем-то поили, что-то настойчиво приказывали, что-то грубо запрещали; да простит им Бог, не ведали, что творили!

Брат Леонид родился 16 апреля 1862 года. “Васенька все упрашивает подождать акушерку, а ее нет как нет, так и не дождалась,” — припоминала, посмеиваясь покойная мать. Жили тогда уже в нижнем этаже чьего-то маленького домика в Калачном переулке. Обстановочка скромненькая, без затей. Наперстницей покойной матери тогда уже была много лет проживавшая у нас в услужении остроносая, черноглазая и сухая Мотя, донашивавшая мамашины канаусовые и шелковые платья.

Расчетливый отец часто и тогда, как и потом заставлял проливать горячие слезы мамашу, которую может быть несколько сверх меры приучал к экономии. Увидав однажды, что лакей



Алексей* завертывает в бумагу подсвечники, стоявшие на ломберных столах, мать взволновалась и решила, что дела совсем плохи, что их велено унести и заложить в ломбард. Долго успокаивал барыню Алексей, говоря, что барин велел вычинить и позолотить подсвечники.

Рассказывали, что здесь, в этой маленькой квартирке я частенько гонялся с большим черным тараканом в руках за трусоватым братом Ромашей. Здесь произошел эпизод, который помню, хоть и смутно. Мотя водила нас с братом гулять. Зимой на нас надевали бараньи тулупчики, которые портной Осип Абрамович Неменский покрывал синим сукном. Однажды (3-х лет), не желая надеть на шею шарф и вырываясь из Мотиных рук, я раскроил себе кожные покровы надбровной дуги левого глаза о край выдвинутого ящика комода. И мерещится мне круглый ясеневый стол прихожей, на котором я сижу и ору во все горло и Ромаша, сующий мне игрушки и ревуший не тише меня. Вспоминая это событие, мать рассказывала, что особенно ее пугало то, что в отверстие раны видели, будто бы, большое глазное яблоко. Приглашенный врач наложил мне ряд швов. Это чуть не единственное воспоминание из моего самого отдаленного прошлого.

Летом 1863 года жили на даче в Зыкове и здесь 4 августа родился прехорошенький мальчуган, которого согласно святам, праздновавшим в этот день “семерых отроков в Эфесе” с их на подбор мудреными именами, окрестили благозвучнейшим Максимилианом. Темноволосого Макса показывали всем охотно, а беднягу сухенького и будто бы некрасивого Леню нередко прикрывали на прогулке в колясочке зеленой тафтой. Долго и весело жили в это лето в Петровском парке на дачах. Смотры и парады сменяли празднества на Ходынке. Любо было москвичам чествовать своего любимого Монарха — Освободителя.

Много гостей и военных перебивало на скромной дачке родителей. 26 октября 1864 года родилась первая дочь Мария. Мы жили тогда уже на Тверской в очень большой квартире над

* Удивительное совпадение: у матери женихом одно время был полковник Мертваго, вышла она замуж за Живаго, а фамилия первого лакея отца, Алексея, была Веселаго. — *Прим. А.В. Живаго.*



магазином. ...[здесь] родились и последние трое: Сергей (1867), Леонилла (1869) и Елизавета (1873).

Впечатлений от доброго старого времени, даже до 10-летнего возраста, у меня немало. Большим буяном рос я, плохо слушаясь родителей, Мотю, а потом и добрейшую первую нашу гувернантку Екатерину Алексеевну Заборовскую. Некрасивая, далеко не молодая уже в то время, старая дева, она умела занимать брата Романа и меня. Институтка, сравнительно недурно образованная, хорошо знавшая французский язык (отчаянно плохо было ее произношение); немало труда положила она на то, чтобы усадить за книги и тетрадки своего любимчика Сашу, отчаянного баловника и непоседу. С послушным и покойным Ромашей хлопот было гораздо меньше.

Ежедневные прогулки, всегда сопряженные с поручениями купить то или другое и всегда с опаской растерять мальчуганов, совершались, собственно говоря, только в трех направлениях: на Тверскую, на Кузнецкий мост и в Город (Гостиный двор). На Тверскую ходили большей частью в колониальный магазин Андреева, где так приятно пахло всякой снедью. Мятный пряник, десяток орехов или несколько черносливин, сунутые нам в руки, давали возможность “Киксевне” приценяться и отдавать распоряжения по доставке на дом тех или других товаров, развозимых по Москве чудными битюгами разных мастей. Смотреть ездили этих могучих чисто русских лошадей, стоявших в своих нарядных сбруях у крыльца магазина под гостиницей “Дрезден”. Заходили иногда и к портнихе Лысиной, длинные переговоры с которой утомляли нас и окрики тогда уже почти не действовали.

Большое удовольствие доставляли мне прогулки на Кузнецкий мост и особенно посещение книжного магазина Маврикия Вольфа, только что открытого тогда отделения его петербургской фирмы; большой по тому времени магазин его помещался на левой стороне Кузнецкого моста в том доме, где теперь английский магазин Шанкс. Заходили в магазин Ревеля, бойко торговавшего дамскими материями, в большой магазин “Русские изделия” в доме князя Гагарина, полный модниц, заезжавших туда за всевозможным товаром, а частью ради интересных встреч и свиданий. Заглядывали,



но не часто, за пирожками или конфетками в старенькую кондитерскую Трамбле, бывш. Педотти. У Кригера и Кача покупалась модная тогда *zahnpasta*. Холодные мраморные львы, стоявшие у подъезда магазина Сан-Галли, задерживали на минутку — надо было снимать забравшихся на них всадников. Не оторвет, бывало, нас бедная Екатерина Алексеевна от окон эстампного магазина Dauiaro, помещавшегося в старом доме на месте нынешнего пассажа Джамгарова.

Оживление на Кузнецком мосту и в те времена было большое, того и гляди попадешь под раскормленных лошадей, запряженных в кареты и коляски с рыластыми, толстобрюхими кучерами, хваставшимися своими конями, разноцветными, угластыми бархатными шапками и зычными голосами. В восторг всех приводила серая пара с горячей пристяжкой усатого полицмейстера Огарева. Говорили, что квартальные тайно платили кучеру его солидную мзду за то, чтобы он уже издали оповещал постовых служителей о проезде предрежащей власти. Ну, и надсаживался, оповещая, чернобородый гигант.

Помнятся мне хорошо и калиберы и зимние сани, просторные, с ковровыми затылками, удачно нырявшие по глубоким московским ухабам. Кнуты тогда не были запрещены и ходко ходили по спинам немудреных извозчичьих лошадок. На этих ваньках раз-два в месяц с удовольствием ездили мы с отцом в баню. Он почему-то особенно любил старенькие, грязненькие бани, расположенные на самом берегу Москвы реки у Каменного моста. В дворянское отделение за вход платилось по гривеннику с персоны. Живо мы раздевались в холодноватой раздевальне и гуськом бежали за отцом в жарко натопленную и переполненную народом мыльню, где баньщик обрабатывал нас по очереди мочалкой, после чего мы, все в мыле, дожидались обливаний из шайки, которая опорожнялась сплошь да рядом на весь гурт разом. Вернувшись в раздевальню, завернешься в простыню, залезешь, бывало, чуть не на подоконник и обтираясь, через разрисованное морозом оконце, любишь замерзшей рекою. Было известно, что эти бани охотно посещались любителями выбегать голышом из жарко натопленной бани на мороз.



Частенько мы перед мытьем попадали в грязноватые руки пьяноватых цирюльников, которые ножницами стригли нас под гребенку, завязав вокруг горла накидку весьма сомнительной чистоты. Изредка бывали мы в Суконных банях, пользовавшихся особой любовью замоскворецкого купечества, артистов и духовенства.

Парные сани, перегруженные народом, платившим гривенники и пятиалтынные за далекие концы, возили публику от одних давно не существующих ворот патриархальной Москвы к другим. Часто попадались на улицах и разукрашенные лихие тройки. Теперь их как редкость держат, кажется, только для демонстрации иностранцам.

Наибольшее же удовольствие доставляли нам весьма частые прогулки в “город”, в старые торговые ряды. Не забудешь ни Ножовой Линии, ни узеньких, резко пахучих, каждый на свой лад, рядов, часто битком набитых покупателями и “продавцами слонов”. “Иголки, нитки, булавки, атлас, канифас, козловые, прюнелевые ботинки,” “к нам пожалуйста, у нас покупали,” — все эти выкрики так и неслись в уши. Зазывалы старались один перед другим, горланили, не жалея глоток, а иногда и заворачивали без церемонии в свои лавки салопниц и особенно нерешительных провинциалов. Курились “монашки” и какие-то ароматические бумажки, сновали пирожники и блинчики, носились, пролезая часто между ног, толпы мальчишек, за которыми нередко гонялись молодые приказчики. Шумно, забавно, пестро и благоуханно!

Побывав в “Никольском Глаголе”, в писчебумажном магазине Жукова, где закупались тетради, грифельные доски и гусиные перья в разноцветных пеналах или примерив сапожки с красной сафьянной оторочкой у Королева в Ножовой Линии, мы, вечно обуреваемые аппетитом, начиная клянить и ныть, уже упрашивали наставницу зайти в приветливый и грязненький Сундучный Ряд, где в полутемном помещении за покрытыми пестрыми скатертями столиками можно было не без удовольствия съесть парочку жареных пирожков или ветчины с горчицей, от которой глаза лезли на лоб, а то и белужки с красным уксусом. На свой счет часто угощала нас добрейшая Екатерина Алексеевна. На сие баловство денег ей не давалось.



Да и несколько лет спустя, уже гимназистами, забегали мы нередко в Сундучный Ряд и проедали свои пятаки. Любил я блины с луком с деревянных лотков, ломал на заклады пряники, проигрывая безбожно, пробовал сбить, но не решался есть дули с квасом из бочонка, так как видел, как освежали их разносчики, окропляя мочальной кистью водой из лужи и никогда не мог решиться попробовать гречники, в надрезы которых из металлического грязного кувшинчика наливали продавцы отвратительное черное масло.

Не раз мы где-нибудь в Ветошном, Шапочном, Широком или Сундучном ряду ставали с удовольствием за торжественным молебствием, слушая прекрасный хор чудовских певчих и голосистых соборных дьяконов*. Молебны эти совершались пред громадными иконами, висевшими в рядах. Под местной иконой тесным полукругом располагали особо чтимые привезенные иконы. Грязный донельзя каменный или кирпичный пол с его канавкой, тянувшейся во всю длину ряда, густо засыпался можжевельником, и Ряд в день своего праздника выглядел несравненно чище и наряднее. Вперед не проберешься — затолкают или задавят, а послушать и поглазеть охота, и несколько раз, я хорошо помню это блаженство, восседал я, поднимаясь над толпой, на плече какого-нибудь дюжего молодца, весьма любезного и предупредительного в день своего рядского праздника.

По воскресеньям после обедни, за сытным завтраком со знаменитыми пирогами с разной начинкой, с печенкой в сметане, особенно любимой в нашей семье, мы часто видали кого-нибудь из наших родственников или знакомых. Заезжали к пирогу молодые дядья Живаго или Востряковы и др. ...Я помню еще старого еврея Леванду и сильно опустившегося впоследствии Ивана Михайловича Кондратьева, талантливое декоратора, к большим праздникам приносившего отцу разысканную им где-нибудь редкостную бутылочку белого *Lacrima Christi* или другого какого-нибудь вина.

* Любили в Москве соборных протодьяконов, купцы платили им щедро и многие из них спивались от частого общения с именитым купечеством. Особым расположением пользовались в Москве в то время далеко не старые Шаховцев и Юстов. Старый, почти безголосый Юстов жив и доньше, он служит в Благовещенском соборе. Я помню его у дядей Востряковых, где он после завтрака нередко пел под гитару русские песни и арию Неизвестного из "Аскольдовой могилы". — *Прим. А.В. Живаго.*



Великий пост всегда соблюдался в нашей семье в то время, хотя и не очень строго. На первой и на последней неделе, а иногда и на четвертой на столе часто появлялся мой заклятый враг — протертый горох с конопляным или горчичным маслом, картофельные котлеты и нелюбимая мною в детстве капуста. Выручали пироги с морковью, гречневой кашей или с грибами и кисели. Отец с матерью приучали нас любить и есть все, что подается на стол. Помнится, не ел я щей и недолго любил пирожные. Попытки отказаться от них кончались плохо — лишали мяса и заставляли есть пирожное при обязательном условии отстоять часок-другой в углу. Устанешь стоять на ногах, опустишься на колени.

Для лошадей, которых отец держал до того времени, когда они однажды разбили его экипаж и высадили его из коляски на тумбу у дома генерал-губернатора, покупали полезную для их лошадиных кишечников увесистую “лошадиную” морковь, служившую и нам верой и правдой. Чего только, бывало, не вырежешь из этого материала, мало знакомого господам скульпторам?...

Отец недурно рисовал и был очень рад, что несомненно талантливая рисовальщица Екатерина Алексеевна приучала нас с братом Романом, а потом и других детей, уделять ежедневно некоторое время рисованию. С самых юных лет к именинам родителей и к большим праздникам, кроме заучивания и чтения приветственных или других каких стихов, подавались и рисунки, год от года свидетельствовавшие о наших успехах.

Екатерина Алексеевна не любила набросков и фигурок бабушки Александры Андреевны, она компоновала более сложные сцены и тщательно их отделывала. Любимчик ее, Сашок, складывал их аккуратно и припрятывал. С особым тщанием долго берег я ее небольшой вполне законченный рисунок, изображавший Олега, наступившего на череп любимого коня. Спасибо старой, приохотила она нас с братом Романом к рисованию, которое мы любили и которому много часов отдавали и впоследствии.

Будучи гимназистом младших классов, я служил поставщиком для моих младших братьев, Лени и Макса. На подаренные к празднику рубли и на выпрошенные у кого попало деньжонки покупались большие листы александрийской или слоновой бумаги,



карандаши и дешевенькие акварельные краски, и работа закипала.

Зорко надо было следить, чтобы не обидеть братишку коннозаводчика, у которого по сотне и более разномастных лошадей стояло в конюшнях и носилось по паркетному полу его владений. Беда, если охота возьмет снабдить другого несколько большим количеством рогатого скота, баб скотниц и пастухов с собаками. А когда стали заслушиваться и сами зачитываться Майн Ридом, Густавом Эмаром и Фенимором Купером, на сцену тогда выступали краснокожие и гверильясы.

Чтение произведений Жюль Верна увлекло в сторону кораблестроения. В большом белом тазу с водой плавали кораблики, материалом для сооружения которых, кроме отцовских ящиков из-под сигар, нередко служила скорлупа грецких орехов, облитая снаружи воском. Паруса, кое-какие снасти — все это делалось довольно искусно, но представления морских сражений и маневрирования различных судов частенько оканчивались катастрофами не хуже Цусимской. Баталия судов иногда как-то незаметно переходила в свалку обладателей флотилий, но в большинстве случаев дело обходилось в общем мирно и суда благополучно убирались в громадные толстостенные красные картоны, которые, как вышедшие к тому времени из употребления, были свалены в сарае при магазине и выпрашивались нами у приказчиков или артельщиков.

Не без некоторого удовольствия вспоминаются мне и также вышедшие уже из моды громадные клеенчатые кивера и старые мамшины кринолины. Большой частью успешно совершала свое путешествие по комнатам маленькая толстенькая сестренка Маня, втиснутая в кивер и бойко управлявшая маневрированием своего экипажа, запряженного парой или тройкой братишек. Прутья кринолина часто мстили за себя изрядно. Закатаешь, бывало, в целую систему их какого-либо любителя этого оригинального спорта, да зазеваешься, ну, и получишь на свою долю по лбу или по рукам при их раскручивании.

Забавлялись мы тем, что было под руками, ценных игрушек нам не покупали (не то что теперь). Заберешь дешевенькие подарки



в именины или на елке и довольствуйся чем хочешь, измышляй забавы, сооружай, рисуй, клей, выпрашивая у отца сигарные ящики.

Паяцы бабушки Александры Андреевны и дядей Алеши с Сашей служили образцами и много их нашей работы покоилось в объемистых красных картонах. Учась в Академии Практических наук, брат Леонид, однажды, пожевав большой ком бумаги и прикрепив к нему одного из крупных, ярко окрашенных арлекинов моего производства, ухитрился зашвырнуть и приклеить этот ком с болтавшимся паяцем к потолку громадной рекреационной залы Академии. Эффект был грандиозен. Спектакль закончился хлопотами начальства по снятию этого оригинального украшения, а остроумного изобретателя препроводили домой при письмеце, в котором, и далеко не в первый раз, строгий инспектор Иван Михайлович рекомендовал дорогому братцу применить телесное наказание. Не знаю, не по его ли рецептам, а, нечего греха таить, пороли нас нередко и, пожалуй, было за что.

Хлопот было немало, старшие дети росли бойко и были далеко не болезненны, ели исправно и требовали активных выступлений. Экономный отец и большая семья нередко удручали мать, обшивавшую детвору. За кройкой и шитьем много времени проводила она, бедная, не разгибаясь. Шилось все, и белье, и рубашки, и штаны. Уже довольно взрослым академистам и гимназистам приходилось носить штаны работы матери. Заплаты на них клались широкой рукой.

Мундиры и шинели шил нам старый еврей Иосиф Абрамович Неменский и шил, надо сказать правду, нечасто. Свежесть их была более чем подозрительна; лакированные локти синих мундиров почти ничем не отличались по цвету и блеску от окраски гимназических парт, пуговицы, несмотря на то, что в магазине отца их лежали груды, почти никогда не имели другого цвета, как медно-красный, а петли достигали двойной длины — их штопали и обметывали по нескольку раз в год. Обсаленные и потерявшие свой синий цвет “кипки” (кэпи) модного для александровской эпохи французского образца, обыкновенно были фасона самого убийственного. Для okazji приберегалось форменное платье



почище и часто его расставляли. Заботливый хлопотун Неменский оставлял на сей случай основательные запасы.

Отец нес немало разных общественных должностей. Так, мне известно, что он, состоя действительным членом Московской Практической Академии коммерческих наук с 1862 года, был членом ее Совета с 1865 года. Он был гласным Городской Думы с 1862 года, членом финансовой и ревизионной комиссий, выборным Московского Купеческого общества, депутатом Московского городского Депутатского Собрания, выборным Московского Биржевого общества, членом Московского Губернского Податного Присутствия с 1885 года. В 1887 году он был выбран членом Правления Северного страхового общества; нес он и разные другие общественные обязанности.

Нам, ребятам, видеть отца ежедневно подолгу не приходилось. Отдохнет вечером, придя из магазина, пообедаст и пойдет в Думу или в свой купеческий клуб, где его очень любили и считали приятным собеседником. Он охотно играл в преферанс и особенно любил свой “безик”, которому обучил и мамашу. Часами сидят, бывало, и раскладывают вертикальными рядами дам, королей, валетов из 16-ти колод. За обедом часто не в пользу пищеварительной функции производилась проборка того или другого сынка. Разбирать все наши прегрешения считалось возможным именно почему-то за едой, потому, главным образом, что другого подходящего для сего времени обычно не находилось. Хитровая детвора частенько прибегала к хорошо испытанному средству заставить отца сменить гнев на милость. Нам хорошо было известно, что он, большой любитель гречневой каши*, с особым удовольствием приготавливал это и нами всеми любимое кушанье; поливал он кашу шами, соусом, солил и сдабривал сливочным маслом. Хором мы начинали просить приготовить кашу и нам, и этого было достаточно для того, чтобы обеденная гроза затихла, а большой пустой горшок из-под каши с очевидностью и безошибочно доказывал, что его появление на столе может быть подчас чудодейственным.

* У отца вошла в поговорку фраза: “Если бы я был богат, я каждый день ел бы гречневую кашу.” — *Прим. А.В. Живаго.*



Я далек от мысли считать родителей моих слишком суровыми. Отец бывал временами настроен очень благодушно, шутил с нами, великолепно рассказывал всевозможные эпизоды до анекдотов включительно, но с годами его раздражительность росла и никто из нас, не считаясь с гнездившейся уже в его организме болезнью, не будучи в состоянии разобраться в симптомах ее, не жалел его душевного покоя, и таким образом создавался часто материал для весьма легко возникавшего его общего возбуждения.

В магазине у своего излюбленного окна* он любил собирать вокруг себя стариков генералов и некоторых из артистов Малого театра и вел с ними самые непринужденные разговоры. Особенно часто заходили к нему в магазин молодой Михайло Садовский “артист московский”, как он любил рекомендоваться, и актер Петров, француз по происхождению, умный, веселый, пользовавшийся хорошим успехом на сцене Малого театра и с особым блеском игравший роль француза гувернера в пьесе Дьяченко. Здесь встретишь, бывало, и “дедушку” Ивана Алексеевича Григоровского, известного чтеца и рассказчика, и братьев Кондратьевых, служивших различным музам в Императорских театрах, увидишь Драгомирова, Раецкого и других известных генералов, любивших поболтать с отцом за стаканом чая.

Отец был большим театралом, посещал Малый театр, лет 15 абонировался в Итальянской опере в Большом театре и часто ходил в полюбившийся ему Артистический кружок, процветавший вначале в Шелапутинском доме на углу Театральной площади. Заметив во мне любовь к театральным зрелищам и, видимо, довольный этим, он брал меня с собой, чем доставлял мне всегда громадное наслаждение.

В 12—13-летнем возрасте я уже довольно часто посещал театры и Артистический кружок. Итальянская опера, которую хорошо помню с 12 лет, была блестяща по составу певцов, переключивавшему к нам из Петербурга и обратно. Абоненты слушали по 22 оперы в сезон, исполненных первоклассными выдающимися

* Здесь его привык видеть даже государь Александр Николаевич и однажды проезжая и указав на него дежурному флигель-адъютанту, заметил что “старый вечно сидит у своего окна.” Так передали отцу. — *Прим. А.В. Живаго.*



певцами и певицами при очень хорошем оркестре, посредственном хоре и далеко не блестящей постановке.

К сожалению, свои театральные заметки я начал только с 1874 года (то есть ровно 40 лет назад)*, но я очень хорошо помню, что и ранее я слышал уже выдающихся знаменитостей: сестер Маркизио, Аделину Патти; мне были уже знакомы вновь приглашенные впоследствии певцы Багаджиоло, Станьо, Ноден и многие др.

Почему-то часто выходило так, что у брата Ромаши в нашу абонементную среду часто болела голова или он не успевал приготовить всех заданных ему уроков и в ложу № 11 с правой стороны отправлялся, несмотря, другой раз, на разные мелкие содеянные им прегрешения, признанный любитель театра и оперного пения, сын Александр. Нехотя, когда подрос и бывал дома, шел в ложу брат Леонид, но его скоро перестали приглашать в оперу, так как он в театре обычно засыпал, не дослушав и второго действия.

В ложе, которую родители оплачивали пополам с семьей М.К. Сусленникова, было только шесть мест, но терпелся и седьмой слушатель, которым наичаще я и бывал. В нашей ложе нередко присутствовал и близкий знакомый нашей семьи, в то время еще молодой ординатор Глазной больницы, Сергей Николаевич Лажечников (сконч. в 1911 г. в возрасте 72 лет). Он очень любил итальянское *bel canto* и с большим слухом напевал ариэтты своим небольшим дребезжащим с резко носовым оттенком тенорком.

Хорошо помню, например, такую сцену. Длинный, сухой Сергей Николаевич, разлегшись на ковре нашей гостиной, поет хорошо заученную мною тогда же ариэту Зибеля, а мы, мальчуганы 6—8 лет, перекатываемся и кувыркаемся через него, лбами упираясь ему в живот. Раскрыв рты, мы слушали Сергея Николаевича, распевавшего серенаду Фауста... отчаянно жестикулировавшего своими длинными руками, или, предводительствуемые им, долго маршировали по комнатам под напеваемый им марш... Представление

* Писано в 1914 году. — Прим. А.В. Живаго.



это заканчивалось под общий хохот серенадой Мефистофеля... причем Сергей Николаевич своими тонкими длинными пальцами перебирал прутья где-то добытого им веника, заменявшего ему бандуру... Познакомилась наша семья с добрейшим С.Н., как и со многими другими оригинальными, веселыми и милыми людьми, в селе Останкино, о котором расскажу ниже.

Спектакли русской оперы, находившейся в то время в явном пренебрежении у дирекции Императорских театров, успехом не пользовались. “Аскольдова могила”, обе оперы Глинки, да изредка серовская “Рогнеда” исполнялись плохо. Никого не могли заинтересовать плохие доморощенные певцы с Радонежским во главе. Выделялась Александрова-Кочетова, учившаяся петь в Берлине, где отец ее, священник, служил при русской посольской церкви. Пела и говорила она с резким немецким акцентом. Изредка выступала одаренная большим талантом певица Евлалия Кадмина. Ее могучее контральто, интересная внешность типа креолки и сценический темперамент скоро сделали ее любимицей публики. Ее романтическую историю с трагическим финалом в Харькове разработал после ее смерти А.С. Суворин в своей сильной драме “Татьяна Репина”.

В балетах, поставленных в общем довольно сносно: в “Коньке-Горбуньке”, “Папоротнике”, “Стелле”, “Парижском рынке”, “Царе-Кандавле” и других отличались наши тогдашние знаменитости: Собещанская, проживавшая в верхних апартаментах генерал-губернаторского дома под покровительством Его сиятельства князя Владимира Андреевича Долгорукого, и Станиславская, и талантливые танцовщики гг. Бекефи, Гельцер, братья Гиллерты, Ваннер и Рейнсгаузен.

Гиллерт держал свой известный танцкласс (в доме у Большого театра над театральным рестораном старого немца Вельде). Танцкласс этот в течение некоторого времени посещал и я с братом Романом, успехи которого в танцах всегда значительно превосходили мои. Дело обучения танцам у старика Гиллерта было поставлено серьезно и вполне добросовестно. Совсем другой характер носил танцкласс в доме Гурьева на Тверской. В “Гурьевке” ночи напролет плясала, отчаянно канканируя богатенькая, поку-



чивавшая с девицами легковатого поведения, купеческая и дворянская молодежь. На российских нивах успешно процветали семена, которыми так щедро в те времена, как-то особенно любовно, весь свет наделяла весьма изобретательная на увеселения всякого рода Франция блестящей эпохи Наполеона III.

В Малом театре я тогда бывал нечасто, но Василия Игнатьевича Живокини, Прова Михайловича Садовского, С.В. Шумского, Никифорова, Ив.Вас. Самарина, Васильеву Екатерину, Акимову, молодых Гликерию Федотову, Никулину и Марию Николаевну Ермолову помню хорошо.

Жалею, что не могу припомнить, как разошлись роли в оперетке “Орфей в аду”, которую превесело разыгрывали драматические артисты на сцене Большого театра, где обычно на Масляной неделе шли дневные и вечерние представления, охотно посещавшиеся, чуть ли не раз в году, московским замоскворецким именитым купечеством. “Ганс, заколдованный принц”, “Булочник немецкий”, “Лев Гурыч Синичкин”, “Простушка и Воспитанная”, “Ворона в павлиньих перьях”, “Прежде скончались, потом повенчались”, много реже пьесы Островского не сходили с репертуара этих масляничных спектаклей, которые и нам удавалось пересмотреть в исполнении талантливых артистов нашей в то время славившейся своим составом труппы Малого театра.

Брал меня отец нередко и в Артистический кружок, где с особого разрешения ставились спектакли и отличались многие артисты и артистки, сделавшиеся впоследствии нашими знаменитостями. В Кружке мне удалось, между прочим, присутствовать на трогательном юбилее старика, известного провинциального трагика Николая Хрисанфовича Рыбакова. Шла сцена в лесу из пьесы А.Н. Островского “Лес”. Рыбаков играл Несчастливцева, роль, написанную Островским на него, а Аркашку играл молодой М.П. Садовский, впоследствии один из артистов “Божьей милостью”.

В Кружке впервые выступила на сцене и Ольга Осиповна Лазарева, вскоре вышедшая замуж за Михаила Провыча и сделавшаяся на моих глазах одной из знаменитостей нашей Малой сцены. В Артистическом кружке выступали и Модест Писарев



с Полиной Стрепетовой, молоденькая Мартынова и состоялся первый дебют опереточных знаменитостей Виктора Ивановича Родона и его жены Серафимы Бельской. Интересно заметить, что опереточный комик и большой любимец публики дебютировал в Москве Гарабурдой в трагедии гр. А.Толстого “Иван Грозный”, которого превосходно изображал весьма талантливый артист М.Ив. Писарев, муж Стрепетовой. Долгие годы служили они впоследствии украшением Александринской сцены в СПб-ге.

Всех этих выдающихся артистов, да и многих других, видел я впервые на подмостках небольшой сцены Артистического кружка, члены которого очень любили отца, Василия Ивановича, и считали его своим человеком.

Несколько раз был я с отцом на музыкально-вокальных вечерах Купеческого клуба на Б.Дмитровке. Там под фамилией Рюбана певал куплеты молодой и ловкий Михаил Валентинович Лентовский, уже служивший в Малом театре, а романсы распевал своим могучим, но несурзным и плохо обработанным тенором Богатырев, любимец Замоскворечья.

В те времена в столицах частных антреприз не было, конкуренции императорским театрам не допускалось... С особого разрешения шли так называемые любительские спектакли в доме Секретарева (“Секретаревка”) и в доме Немчинова (“Немчиновка”). На этих спектаклях бывал я довольно часто, любуясь игрой молодых дядей Живаго и многих других любителей.

Долго хлопотал С.В. Танеев* с К^о о разрешении открыть на время Политехнической выставки 1872 года народный театр у Варварских Ворот. С помощью князя Долгорукого и петербургских связей энергичным предпринимателям это, наконец, удалось, и

* Проживавший много лет спустя в нашем Дмитровском доме симпатичный Сергей Васильевич Танеев много рассказывал мне об этих его хлопотах, когда я бывал у него и играл с ним и его приятелями в винт. С.В. был мужем талантливой артистки сперва нашего Малого, а затем Александринского театра, Надежды Сергеевны Васильевой. Как она, так и две ее гораздо менее талантливые сестры, тоже артистки московской императорской сцены, были дочерьми пользовавшихся большой известностью в Москве артистов Малого театра Сергея и Екатерины Васильевых. На этих вечеринках встречал я Г.Н. Федотову, сын которой, артист Малого театра А.А. Федотов, был женат на младшей сестре, Наталье Сергеевне. — *Прим. А.В. Живаго.*



много раз я с наслаждением просиживал вечера на галерке деревянного театра, смотря “Путешествие вокруг света в 80 дней”, “Убийство Коверлей”, “Купца Иголкина”, “Горькую судьбину” и проч. Многие из прославившихся впоследствии артистов дебютировали перед московской публикой в этом театре, просуществовавшем с особого разрешения, кажется, три года.

Кроме Н.Х. Рыбакова здесь впервые выступали Макшеев, Берг, Ленский, Киреев, совсем юный Конст. Никол. Рыбаков-сын, Греков, Стрелкова, Струкова, Очкина, сестры Талановы и мн. др., впоследствии премьеры казенных и частных сцен.

Я только наметил кое-что за ряд лет. Может быть, когда-нибудь я найду время изложить обстоятельнее свои впечатления старого театрала. Спасибо, говорю я всегда дорогому покойному отцу, заразившему меня любовью к театрам и искусствам вообще. Много улады, много удовлетворения испытал я от этой моей любви и впоследствии в течение моей до известной степени одинокой жизни.

Два раза в год в квартире родителей обычно собиралось много гостей. Шумно справлялись именины отца в день Нового года и матери 1-го марта. Часам к восьми съедутся гости, а около часа ночи все садились за обильный ужин. Хороший, выбранный самим отцом окорок и искусно приготовленный матерью ее знаменитый фаршированный поросенок служили украшением стола*.

К числу наилучших друзей родителей принадлежал и пользовавшийся в те времена большой известностью акушер доктор Михаил Ильич Чиж, скромный и слегка застенчивый. Прекрасный собеседник, он по своему мешковатому характеру был совершенной противоположностью живому балагуру, своему коллеге Лажечникову. Дяди и тетушки привозили своих сынков и дочек. Молодые ребята Баклановы и Дунаевы нередко приставали к дедушке Иосифу Афанасьевичу и изрядно потешались над ним вместе с нами, пользуясь его глухотой. Вокруг Григоровского

* Особенно, кроме того, славились пасхи ее работы. Ими она баловала меня всю жизнь, присылая их накануне Светлого дня мне, жившему с 1886 года отдельно. — *Прим. А.В. Живаго*



рассаживались дамы и он мастерски читал им чудные стихотворения, а за ужином дядя Иван Михайлович произносил свои длинные приветственные речи, казавшиеся нам долго весьма утомительными и скучными. Мы больше любили и ценили задравные стихотворные тосты, на которые был таким мастером дядя Николай Кузьмич. Не часто, но иногда по вечерам и запросто приходили и люди малознакомые и забавляли, кто чем мог. Старый немец Лампрехт, виртуоз чех Бабушка, а впоследствии и молодой Арендс играли на скрипке, бывали и певцы.

Однажды весенней ночью на Тверской у дома, где мы жили, собралась толпа народа и вслушивалась в рев, несшийся из нашей квартиры, где состязались приглашенные отцом певцы. Долго прислушивался к пению оперного баса, чеха Томачека, сидевший в гостях отец протодьякон и наконец и сам заревел, задумав не только с ним сравняться, но и убить певца мощью своего выдающегося голоса. Бояться за то, что дети будут разбужены, не приходилось — в детстве мы спали сном подраставших богатырей.

Покойному отцу хотелось, чтобы мы кроме танцев обучались еще и гимнастике, и мы с братом Романом посещали, хотя и недолго, гимнастические залы шведа Бродерзена и хорошего знакомого отца француза Пуаре*. Могуч был коренастый и грудастый Пуаре, с большой любовью относившийся к своему делу. В его громадном двухцветном зале старательно занималось много учеников обоего пола. В памяти моей, между прочим, остался такой курьезный случай. Во время одного урока “вольных движений” в первых двух шеренгах, как обычно, стояли молодые девушки в своих гимнастических коротеньких юбочках, шеренги за ними были составлены из молодых ребят гимназистов. В разгар занятий вспыльчивый Пуаре подозвал к себе только что появившегося в дверях, взрослого уже сына Виктора и когда тот подошел к нему,

* Отец крестил старшую его дочь. Она, впоследствии выдающаяся красавица, была женой купца Ревеля. Сына Пуаре, Виктора я встречал впоследствии артиллерийским поручиком русской службы. Другой его сын Александр отбывал воинскую повинность во Франции, где и жил до самой смерти, сделавшись блестящим карикатуристом, подписывавшим свои работы псевдонимом Сагад'аше. Дочь Мария Яковлевна, изящная, веселая и талантливая артистка Светина-Марусина, прослужив несколько лет у Лентовского и в провинции, долго служила затем на Александринской сцене в СПб-ге. — *Прим. А.В. Живаго.*



отец нагнулся и моментально разорвал снизу кверху правое полотнище его новых зимних серых штанов. Сконфуженно ретировавшемуся сыну Пуаре кричал вдогонку по французски: “Ты, надеюсь, не будешь теперь шить себе таких штанов и повторять мне об этом тебе не придется”. Как выяснилось, он не выносил новомодных тогдашних брюк, колоколообразно расширенных книзу.

Из развлечений, но уже несколько позднейшего времени, мне припоминаются масляничные поездки на тройках, семейные маскарады и маскарады в Большом театре. Как сейчас помню я, как покойного отца одевали Маргаритой, а потом говорили, что долго не могли узнать в маленькой жирненькой немочке замаскированного папеньку с его маленькими ножками и ручками. Хорошо помню и костюм Дианы-охотницы, в котором фигурировала покойная мать на одном из семейных маскарадов. В частых масляничных разъездных из дома в дом маскарадах принимал участие и я.

Горевал я сильно, когда украли у меня мой алеутский костюм из рыбьих пузырей, привезенный Ю.Ив. Костромитиновой с острова Ситхи и подаренный мне. Большой фурор произвели на одном из маскарадов длинный, сухой Дон-Кихот (П.М. Полянский), которого чуть не ежеминутно, подставляя лесенку, лазал целовать Санчо Панса (Н.Ив. Хотинский). Много оживления вносил в эти маскарады покойный Николай Кузьмич в своем любимом костюме Фигаро.

Весело иногда жилось в доброе старое время! Новогодние маскарады Большого театра нам посещать было трудно. Домашняя всеношная и молебен предшествовали в нашей семье поздравлению отца со днем ангела и новогодними пожеланиями. Но раза два я попал все-таки на эти развеселые маскарады. Не забуду никогда моего удивления, когда в мой дебютный вечер мы с товарищем гимназистом Володей Пашковым в дешевеньких костюмчиках Пьеро только что поднялись на лестницу от главного входа, как я сразу почувствовал себя в объятиях сильно декольтированной маски, вплепавшей мне тут же два сочных поцелуя. Польщенный этим горячим приветствием, каюсь, я был смущен, но ненадолго,



так как живо освоился с атмосферой самого непринужденного веселья, царившего в громадном зале, переполненном отчаянно канканирующими москвичами различнейших общественных рангов.

Постараюсь теперь, насколько могу, справиться с новой задачей и порассказать о нашей дачной жизни в имении графа Шереметьева “Останкино”. Исстари славная, встречавшая не раз в своем пышном дворце царей подмосковная графа Н.П. Шереметьева, особенно полюбившаяся ему после свадьбы его на простой крестьянской девушке, красавице танцовке Параше, расположена весьма недалеко от Марьиной Рощи, от которой ныне почти нет и помина и которую я помню старой, тенистой, березовой рощей, переполнявшейся в доброе старое время молодежью обоего пола, стекавшейся сюда... со всех концов Москвы. Прекрасный стильный дворец с его флигелями, построенный Кваренги и Казаковым, церковь чудной допетровской архитектуры, пруды, громадный парк с затейливо и богато разбитыми цветниками перед садовым фасадом дворца, вековые, тенистые, липовые аллеи, разрезающие парк в различнейших направлениях, могучие кедры, лиственницы и чудная дорожка к речке Каменке, хорошо содержимые и не загаженные обилием дач слободки, прекрасное общество далеко не многочисленных дачников, дружных между собой, всегда старавшихся поддерживать хорошие отношения, красивые окрестности и близость от города — вот то, что привлекало в Останкино любивших его постоянных дачников, из которых некоторые были дачевладельцами.

Нет и следа теперь от блестящего былого Останкино с его теперешними пивными, чайными, кинематографами, бегами и трактирами, с его чорт знает каким населением, унавозившим хорошенькое чистенькое местечко.

И. Василевсий (Буква) много лет назад посвятил подмосковным дачам целый фельетон в “Русских Ведомостях”...

Восемнадцать лет мы прожили в Останкино и, по счастью, только за последние годы нам удалось подметить именно, что картинно описал Буква. Началось с кучной застройки дачами слободок, затем последовало проложение новых улиц, развелась такая молодежь, что упаси Бог. Невинные шутки, забавные выходки



бывали и в наше время, но мы не испещряли крылатыми словами заборы и мраморные статуи в парке, не отбивали Дианам и Венерам их прекрасные классические носы, не валили Аполлонов на землю, не вешали чучел в виде удушенников на деревья у Садового пруда и тем не способствовали преждевременным родам несчастных прогуливавшихся дам.

Из Москвы не приезжали с целью напиться и набезобразничать в пьяном виде целыми семьями хулиганы. Попьют, бывало, чайку у знаменитых в свое время останкинских самоварщиц праздничные гости и скромненько погуляв, съедут на линейках, обслуживавших сообщение с городом.

Пораспродали дачи и поразъехались кто куда старые дачники, с грустью покидая полюбившееся местечко. Граф А.Д. Шереметьев много картин, скульптур и вещей из обстановки повывез из дворца в Петербург, испугавшись “освобожденных эпохи освобождения”. Сад запущен, статуи частью убраны в подвалы, частью заколочены досками, дорожки заплеваны и усыпаны семечками и апельсинными корками, старые вековые деревья загнездили грачи, которых обычно приманивают обильные людские отбросы. По нескольку раз в день громадный автобус возит в Останкино новых дачников и их подвыпивших гостей, со всех террас дуют всюю и хрипят общим хором сотни граммофонов...

Побывал я в Останкино несколько лет тому назад и в ужас пришел от его новой культурной жизни в XX веке.

Не то было в Останкино, как, конечно, и во многих других подмосковных дачных местах в то время, когда мы росли. Весело, благородно и дружно жили семьи порядочных людей... На разных улицах Останкино... почти ежедневно собирались и сидели на лавочках парковой площадки, называвшейся “пяточком”, дружно беседовали, делясь новостями, а по воскресеньям производили экспертизу приезжим, гулявшим по парку.

Знакомые между собой семьи дачников, изящных по природе, дорожили хорошими отношениями, всегда находили много общих интересов, увлекались, насколько могли, искусствами и нередко старались общими силами помочь тем близким, которые, по слухам, страдали.



Помнятся мне те большие благотворительные вечера, сборы с которых получали специальное назначение — помочь пострадавшим. Помогли и хорошо помогли, например, деревне Подушкино, сгоревшей дотла, другой, имени которой не помню, собрали значительную сумму денег на покупку скота, поголовно павшего в тяжелую чумную эпидемию.

Особенным блеском отличался большой *bal champêtre** в пользу несчастного гарнизона Баязета, чуть не погибшего при осаде крепости турками. Все избравшиеся особой комиссией дачники и дачницы несли свою лепту, участвуя в добром деле кто как мог, заведя хорошо сервированными буфетными столами, продавая цветы, букеты и бутоньерки, украшая площадку плетеными гирляндами из дубовых листьев, фонарями, стаканчиками или устраивая увеселения и заведя танцами, живыми картинами или устраивая блестящие фейерверки на дворцовом пруду. Бывало людно, прибывало много знакомых из Москвы и материальный успех обеспечивался.

На одном из этих грандиозных балов молодая красавица Леткова, впоследствии жена известного художника К.Г. Маковского, обойдя с блюдом веселившихся, собрала в пользу бедняков около 700 рублей. Очарованные ласковой улыбкой русской красавицы, мужчины не жалели денег. На блюде нашел себе место и мой единственный скромный трешник.

Нельзя без восторга вспомнить те блестящие фейерверки, которыми в то время славилось Останкино. Многих хлопот стоили они их устройтелю Ф.И. Куну** и его помощникам. При свете факелов с военным оркестром под управлением старого Крейнбринга во главе, во всю длину громадной Аллеи Вздохов под звуки марша тянулось шествие парами на дворцовый пруд, а там все долго любовались грандиозными картинами — баталиями судов на воде и взятиями турецких крепостей.

* Сельские танцы (фр.).

** Почтенный Ф.И. Кун, женатый на англичанке, имел очень большую семью. Он много лет служил в Императорских театрах, заведя их освещением и световыми эффектами. Когда он в очень преклонном возрасте скончался, на службу в Императорские театры поступил его старший сын Альберт, по смерти которого ту же должность занял второй сын Франц... — *Прим. А.В. Живаго.*



На танцевальных вечерах царило милое оживление; никакие эксцессы, без которых почти не обходятся ныне, не имели места... Балы на открытом воздухе, на площадке, украшенной гирляндами из зелени, флагами и флажками и фонарями всех размеров, давались... в исключительных случаях.

После первой в Москве Политехнической выставки 1872 года обществом дачников был приобретен на паях очень большой деревянный павильон прекрасного русского стиля. Павильоном этим любовались москвичи в пожарном отделе выставки. Сооружение это, перевезенное и поставленное в Останкине у танцевальной площадки, более двух десятков лет служило верой и правдой останкинцам для их семейных вечеров. Здесь вскоре была устроена сцена и труппами своих и приезжавших из Москвы любителей, часто с гастролерами, известными провинциальными артистами, давались спектакли. Душой театрального дела был покойный отец, Василий Иванович. Он пользовался большим авторитетом, ему не трудно было, благодаря его артистическим знакомствам, ставить пьесы, подчас в блестящем исполнении. Много хлопот было и нашей покойной матери, заведывавшей распределением мест, продажей билетов и уплатой всех расходов по оборудованию спектаклей. По окончании спектакля долго, шумно и весело пировали свои и приезжие любители и артисты на большой террасе нашей дачи. Их радушно принимали и угощали родители.

Мастерской игрой отличались небезизвестные в те времена в Москве любители драматического искусства: Брызгалов, по профессии художник; он весьма талантливо подражал Прову Садовскому, в ролях которого очень любил выступать, вызывая удивление своими имитациями у тех, кто хорошо помнили великого артиста; Валентин Иван. Скворцов, очень хороший комик и простак, впоследствии большой любимец посетителей театра Ф.П. Корша в самый блестящий период его деятельности; он играл здесь под фамилией Валентинова целый ряд лет; наш покойный дядя, Алексей Иванович, с большим успехом игравший здесь весьма много ролей; увлекшийся театром, сын в свое время очень богатых



родителей, Н.А. Борисовский*, еще и доньне служащий в труппе театра Корша, где он выступает в ролях комических стариков.

Из местных останкинских любителей на первом месте я поставил бы дочь С.П-ча, Веру Сергеевну Карцеву, с большим темпераментом и силой заправской хорошей драматической артистки выступавшую в ролях героинь пьес Островского. Припоминаются и другие таланты, с большой любовью относившиеся к делу.

Когда мы с братом Романом подросли и также увлеклись сценическими подмостками, то и мы оказались не лишними в труппах останкинских лицедеев. Брат с успехом выступал на ролях любовников, а мне поручались роли жанровые и комические. Ряд представлений выдержала в Останкине веселая, бесхитростная, но очень изящная вещица Балуцкого “Денежные тузы”, где вместе с нами выступал Вл.Ал. Федоров, талантливый комик-любитель, не без успеха играющий ныне на сцене Малого театра под фамилией Сашина.

Из гастролеров-артистов припоминаются мне: Суровщиков, Васильев-Гладков, весьма талантливый, но затертый на сцене Малого театра, Гетцман, Очкина, Бороздина, Булычевцева и нек. др. В дивертисментах нередко участвовал с большим успехом выступавший тогда в Москве на вечерах и клубных сценах известный чтец Иван Алексеевич Григоровский. О нем я упоминал уже не раз. Неоднократно слышанная всеми “Грешница” в его исполнении и многие др. вещи, вошедшие частью впоследствии в сборник “Живая струна”, вызывали всегда восторги публики. “Не выношу я этих, модных ныне, шинтонов”, — бывало, скажет “дедушка” Григоровский, — “прочту им свою “русскую косу”, — добавлял он, указывая на дам в партере**.

Об этом, всем в Москве в те времена хорошо известном “общем дедушке”, очень любимом всей нашей семьей, необходимо сказать

* Н.А. Борисовский был сыном А.В. Борисовского от второй жены его Лухмановой, первой же женой А.В. была сестра бабушки, Елиз.Анд. Пятницкая. — *Прим. А.В. Живаго.*

** Мастерски читал И.А. это стихотворение, начало которого мне помнится: “Было время, похвалялась наша русская коса, / Что она де, чародейка, всему городу краса...” — *Прим. А.В. Живаго.*



несколько слов. Хорошо образованный, уже несколько лет успешно служивший чиновником министр. внутр. дел в Петербурге, он бросает все. Мастерски читая в кружках своих знакомых, увлекшись похвалами, Иван Алексеевич делается вскоре известным чтецом на литературно-музыкальных вечерах. Переехав на жительство в Москву, он здесь стал пользоваться вскоре еще большей известностью, получая за свои выступления на публичных и домашних вечерах хорошее вознаграждение. В Москве он вскоре познакомился с дедом Сергеем Афанасьевичем и отцом, в короткое время сделавшись своим человеком в их семьях. Его поездки по большим провинциальным городам, где он стал часто выступать и как артист драмы, создали ему довольно крупное имя в провинции. У каких только провинциальных антрепренеров он не переиграл за долгий период лет?

Без смеха не могу я вспомнить его рассказа о том, как он вывел из себя знаменитого трагика, негра Айра-Ольдриджа, с которым судьба свела его где-то в провинции. Вспыльчивый до бешенства, гастролер отказался играть с каким-то непонятливым и непонравившимся ему актером, которому поручена была на репетиции роль отца Дездемоны в шекспировском “Отелло”. Без церемонии бешеный Ольдридж, взяв актера за шиворот, швырнул его через рампу в зрительный зал. Растерявшийся антрепренер, не зная, кем его заменить и заметив в партере свободного от ангажемента, хохотавшего И.А-ча, кинулся к нему и, пообещав ему с три короба и большой оклад, и два бенефиса, умолил играть с Ольдриджем. Трагик через своего переводчика объяснял мельчайшие детали своих требований к товарищам по сцене. Иван Алексеевич с первых же слов очень понравился ему и он долго хлопал его по плечу. На репетиции все сошло гладко, но на спектакль “дедушка” забыл назначенное ему место, молчал, когда ему надо было говорить, в диалог вступил не вовремя и наконец ушел ранее, чем надо, за кулисы. В антракте за кулисами с Ольдриджем сделался припадок бешенства, он, не стесняясь, ревел и кидался с кулаками на всех и, выломав из какой-то подстановки деревянную перекладину, искал Григоровского, чтобы его избить. “Заперся я в уборной, снял свою бороду, разделся и сажу себе покуриваю,



совсем забыв о последнем своем выходе в 5-м действии. Вдруг слышу голос режиссера: “Григоровский на сцену!” Что было делать, по счастью, я не растерялся, завернулся в первый попавшийся плащ и вместо отца вышел на сцену, как бы, слугой и сообщил о смерти Дездемоны. Зрители, надо думать, не поняли, а Ольдريدж, с трудом разобравши после спектакля, в чем дело, к моему удивлению стал хохотать, помирился со мной и мы выпили с ним в ту ночь изрядно”.

Долго и очень много пил водки Иван Алексеевич. Однажды уже 80-летним стариком в театре Корша, где он служил до самой своей смерти, он, будучи в буфете, пил себе рюмку за рюмкой. “Сколько “дедушка” выпил рюмок?”, — спросил артист Градо-Соколов у буфетчика, — пьют-с 22-ую, — ответил тот. “Стыдись, старый хрен, что ты делаешь?” — обратился Градов к Григоровскому. “Пью водку, неужто нельзя? А ты не помнишь, старина, как мы выпили с тобой на торжестве открытия Екатерининского Института?”, — вопросом ответил ему остроумный Григоровский под общий хохот товарищей. Белившийся, румянившийся и красившийся, далеко уже не молодой Градов-Соколов опрометью бросился бежать из буфета.

“Дедушка” долго жил в плохеньких номерах “Малороссия”, помещавшихся в маленьком двухэтажном желтеньком домике, стоявшем тогда на месте нынешнего Солодовниковского театра. Раза два за мною, когда лет 6—7 я был уже врачом, прибегали номерные, прося поскорее помочь “дедушке”. Два раза спас он себя от грозных последствий кровоизлияния в мозг тем, что падая, рассекал себе кожные покровы головы, устраивая таким образом невольное кровопускание. Сыграв как-то роль кн. Тугоуховского в “Горе от ума” — это была его последняя роль — старик почувствовал себя дурно и скончался тихо в своих номерах, по-видимому, от нового кровоизлияния. Вскоре после отпразднованного им дня 75-летней своей годовщины, подарил он мне стихотворение свое следующего содержания:

Конец пути, — и слава Богу!
Прошел я жизненный свой путь,
Но, обернувшись на дорогу,
Я не могу, чтоб не вздохнуть.



Как много сил отпущено мне было,
Господь меня всем щедро наградил.
На всю бы жизнь тех благ бы мне хватило,
А я, безумец, их напрасно погубил!
И вот теперь стою я на краю могилы
И с ужасом я вглубь ее смотрю.
Темнеет взор, слабеют силы
И жаркую молитву я творю:
Прости мне, Боже, прегрешенья,
Не вниди в суд с Твоим рабом.
Всещедрый! дай Твое прощенье,
Чтоб я уснул могильным сном.
И спал бы я до той трубы,
Что прогремит по всей вселенной,
Когда все вскроются гробы,
Чтоб встать на суд нелицемерный!
Тогда, о Боже, вспомяни
Мою молитву, мой Спаситель,
И душу грешную прими
В Твою небесную обитель!

Стихотворенье это, написанное старческой рукой на пожелтевшем листке бумаги, подписано: *Дедушка Григоровский*.

Теперь вернусь снова к останкинскому театру. Довольством сияло лицо покойного отца, когда спектакль имел успех. Он переживал вместе со своими артистами все их треволения, а артисты относились к делу серьезно, добросовестно учили роли и из кожи лезли вон, чтобы угодить своему требовательному, но любившему их душевно “антрепренеру”, как его в шутку тогда называли.

Отец не жалел и личных средств на то, чтобы помочь беднякам из артистического мира, и в Останкине часто давались спектакли с благотворительной целью. Какая-нибудь престарелая артистка в крайней нужде или потерявший ангажемент провинциальный артист, оставшийся без куска хлеба — все найдут помощь, обратившись к строителю спектаклей.

Узнал, например, отец как-то, что одна молоденькая француженка, артистка, гастролировавшая весной в Москве заезжей труппы, сломала себе ногу и кое-как лечится, не имея никаких средств. Французам, ее товарищам, были предложены гастроли



в останкинской театре. По возвышенным ценам они играли весьма мило изящные французские пьески, [они] имели большой успех и сделали хороший сбор в пользу несчастной. Я не забуду шумного нашествия французов на нашу дачу, устроенную для них вечеринку на террасе и то, как трогательно они выражали свою благодарность нашим родителям. Много лет служила впоследствии в Петербургской казенной французской труппе одна из участниц этого спектакля, хорошенькая Mlle Douot, вручившая мне, как сценаристу, свою фотографическую карточку.

Отец давал мне много поручений. Я ездил в Москву за реквизитом, изредка расписывал роли, помогал декораторам писать декорации и примерам в их работе в маленьких клетушках-уборных, пристроенных к павильону. Обновить портал и написать новый занавес поручено было небезизвестному ныне художнику Штембору и мне. Работа у нас кипела и закончена была в неделю. Зрительный зал разразился аплодисментами, увидав новый портал с его нишами, в которых красовались громадные античные фигуры богинь, купленные мною в магазине обоев Дабо на Кузнецком мосту, и нежно-голубой занавес, испещренный по трафарету серебряными лилиями французских королей с серебристой массивной бахромой, в центре которой мы удачно изобразили группу сценических атрибутов (ноты, лиру, флейты, бубен и трагические маски). На вызовы всей залы мы не раз выходили и раскланивались. Строгий критик, отец, благодарил нас за успешное и быстрое исполнение работы особо.

Устройством танцевальных и музыкально-вокальных вечеров заведывали другие дачники, приятели отца, образовав комиссию. Н.К. Бакланов, А.С. Холмский, М.Я. Полянский и Н.И. Хотинский были деятельными членами ее и привлекали к работе по подготовке охотно отзывавшуюся на их зов молодежь. Общество дачников по окончании сезона чествовало своих увеселителей поднесением венков; последние удачно из дубовых ветвей плел десятский Мурашев, декоратор площадки. Брат Роман, излюбленный дирижер танцев, также при шумных аплодисментах получал венки, которые подносили ему барышни.

Матвею Константиновичу Сусленикову удалось составить вполне хороший хор для церковных богослужений в старинном



храме Останкина. Его дочери и их подружки, барышки Дьячковы, отличавшиеся музыкальностью и хорошими голосами и удачно подобранный мужской персонал — это был матерьял, с которым нашему регенту М.К-чу не трудно было разучивать часто весьма сложные и далеко не легкие композиции духовных песнопений. Близость села Марфина, летней резиденции строгого викарного епископа Амвросия и боязнь старого о. настоятеля церкви ответить за новшество — допущение смешанного хора — не остановили нашего регента от задуманного им доброго дела. Получив запрещение от Амвросия, Матвей Константинович поехал к митрополиту Макарию и изложил ему суть дела, ходатайствуя за свой хор. Пострадавший впоследствии за какие-то, будто бы, слишком либеральные воззрения, умный и весьма добрый высокопреосвященный охотно разрешил останкинцам и благословил Сусленникова на новое дело.

Два-три вечера в неделю посвящались спевкам и хор в короткое время удачно стал справляться со своей задачей. Храм бывал переполнен, к обедне съезжалось немало жителей из окрестных дачных мест. На лужайке у церкви скоплялось много экипажей приезжих. Матвеем Константиновичу в этом деле много помогал неутомимый Николай Козьмич, певший тенором и считавшийся большим знатоком церковного богослужения. Не могу забыть, как требовательный и горячий М.К. однажды, возмущенный вряд ли кем в храме замеченным разладом солистов в концертном “Отче наш” и слишком подчеркнутым старательными басами звуком “р” в запричастном стихе “радуйся, Царице”, сделал общий поклон, бросил управление и, удалившись с хора церкви, уехал, как он говорил нам, “от стыда”, в Москву. Упросив его сменить гнев на милость, мы усугубили наше внимание и продолжали радовать нашего маэстро-регента.

Любимый молодежь, дядя Николай Козьмич, между тем не забывал назначить чуть не на каждое воскресенье, на каждый праздник экскурсии куда-либо в окрестности. Позавтракав и уже волнуясь, сбегалось к его даче 15—20 молодых людей и девушек и дядя торжественно объявлял, куда на сегодня намечена прогулка.

В приглашенную им из Москвы старенькую коляску укладывались самовар, посуда, закуски, прохладительные напитки,



ковры и пр. Туда же складывали туристы другой раз предусмотрительно захваченные с собой плащи и накидки и частенько в коляску помещался и шарманщик со своей шарманкой, приглашенный для курьеза. Так как прогулки большей частью предпринимались в сравнительно далекие концы, то притомившиеся получали разрешение отдыхать по пути, занимая место в той же коляске. Шумно, весело и бодро выступала компания под предводительством весельчака дяди, любителя погулять с молодежью. Скоро в руках барышень оказывались большие букеты душистых полевых цветов. На привалах много болтали и шутили, хохоча от души. Певцы и певицы затягивали хоровые песни, особенно любили петь студенческие и сочиненные кем-нибудь комические куплеты на животрепещущие темы. Где-нибудь в лесочке, под тенью, раздуют самовар и, угостив дам горячим чаем и бутербродами, кавалеры снова подогревают самовар и сами наслаждаются вволю. Душой веселого общества всегда был инициатор этих любимых прогулок и от него зависело поднять с ковров разлегшуюся молодежь в обратный путь.

С тем же весельем и почти без отсталых шагали мы домой, а иногда в тот же день вечером танцевали без усталости на балу под бодрые звуки духового оркестра старого, сговорчивого, но любившего точный ритм в танцах, Крейнбринга* в его неизменной старенькой кэпи, надетой набекрень. На обязанности кавалеров, между прочим, лежали обязательные проводы дам на дачи, раскинутые по разным слободкам**.

* Полюбивший Останкино, старый, сутуловатый немец часто уступал нашей общей просьбе и мастерски играл свои знаменитые Solo на корнет-а-пистоне. Отпустив своих музыкантов на наемных линейках в Москву, Крейнбринг после бала с удовольствием принимал приглашение попить пива и закусить на нашей террасе, куда и мы нередко тащили между танцами наших барышень выпить чаю или того или другого прохладительного напитка. — *Прим. А.В. Живаго*

** Припоминается мне маленькая старенькая даченка на Садовой слободке. Дачу эту два молодых немчика, конториста, снимали у дряхлого Генварева, дворового человека графа, много лет водившего посетителей по дворцовым покоям. В этой дачке имелось всего две комнаты, обстановка одной из которых исчерпывалась буквально только двумя полуразрушенными, железными кроватями с кое-каким бельем, тогда как в другой, более просторной, к потолку были подвешены гимнастические кольца, а один из углов совершенно пустой комнаты был занят батареей пивных бутылок. Сюда выпить пива забегали некоторые из притомившихся танцоров, а чтобы не замарать ботинок, через, в большинстве случаев, отчаянно грязную улицу, за двугривенный переносил на плечах некоторых из посетителей этой оригинальной квартирки дюжий ночной страж, приученный к сему немцами. Должен сказать, что эти немчики служили уже, как бы первыми ласточками новой жизни с. Останкина. — *Прим. А.В. Живаго*.



Особым весельем отличались всегда ночные прогулки под Ивана Купалу, когда всем хотелось найти цветок цветущего в эту ночь папоротника. У моих маленьких в то время сестренек в качестве гувернантки жила в течении нескольких лет рыхлая английская miss почтенных лет. Приглашенная однажды дядей на эту прогулку и поверившая на слово в то, что она может найти богатый клад, если сорвет зажегшийся огонек таинственного цветка, miss Taylor шла в толпе, все время вглядываясь в темень ночи. О ней, посмеявшись над ее доверчивостью и романтизмом, скоро забыли, как вдруг, она преоригинально напонила всем о своем присутствии. Мы в это время шли по лесной дорожке к речке Каменке; вдруг отчаянный, душу раздирающий визг обратил на себя наше внимание. В некотором отдалении у куста мы тотчас же обрели несчастную miss в обмороке, а из куста выволокли на расправу ражего, рыжего детину. Приведенная в чувство бедная англичанка сообщила, что, приметив огонек, она кинулась к нему и с ужасом увидала бородатую морду. Бродяга, расположившись на покой и преспокойно покуривая, нехотя подманил к себе таинственно настроенную, зоркую miss и попался к нам в руки. Найденные у него при обыске серебряные ложки уличали его и бедняге-несчастлицу пришлось познакомиться со становой квартирой, куда доставила его вернувшаяся в Останкино компания.

Жулье в те времена пошаливало в Останкине нередко. Еще когда мы были совсем маленькими мальчуганами, однажды ночью нашу дачу ограбили вчистую. Никто не слышал, как хозяйничали в нижнем этаже бесцеремонные воры, забравшие все платье, белье, столовое и чайное серебро и пр. Утром поняли, почему за несколько дней перед тем пропала, видимо, сведенная из полисадника, громадная и злобная овчарка, слушали как Екатерина Алексеевна рассказывала, что всю ночь ей снились полотеры, и провожали отца, в очень оригинальном костюме отправившегося в Москву. Черный фрак и чесучевые панталоны, найденные, по счастью, в детской верхнего этажа, заставили его, несмотря на жаркий день, ехать в Московскую квартиру в пролетке с поднятым верхом и с развернутым на ногах фартуком. Наезжали власти, но ни добра, ни воров не разыскали.



В 17—18-летнем возрасте я вместе с приятелями братьями Кун составил сообщество с целью уловления воров. Правда, обычно вору избегали расставляемых им нами ловушек, но иногда нам все-таки удавалось доставлять их в стан. На покойного молодого и болезненного Бориса Оконечникова однажды в Дубовой роще напал какой-то бродяга и еле удалось Борису убежать от него. Запыхавшись, прибежал он на дачу Кун и сообщил о случившемся. Франц Кун и я немедленно выработали план поимки и направили осмелевшего от наших уговоров Оконечникова тою же дорожкой назад в рощу, а сами, возможно тихо и крадучись, подвигались среди кустов и разросшихся папоротников и следили за его движением вперед. И едва бродягой, довольным новой встречей, произнесены были его приветственные слова “а, барин, здравствуй, ты опять идешь”, как он моментально был нами сбит с ног, а затем, связанный и обысканный, был вскоре доставлен к Мурашеву, на стантовую квартиру.

Хуже мог кончиться другой случай. Мальчуган Володя Малышев сообщил нам, что его охотничье ружье, сумку и патроны у него только что отнял какой-то оборванец и побежал и, кажется, засел в громадных капустных огородах, широко раскинувшихся в сторону исторического села Алексеевского. Не соображая, что вор может открыть стрельбу, мы живо обложили его среди огорода и, схватив с поличным, обезоружили, связали руки ремнями от штанов и доставили в стан. Много и других эпизодов можно было бы порассказать, но довольно и этих.

Вскоре после кражи покойный отец завел своих, полюбившихся ему донельзя, бульдогов, которые не переводились в нашем доме до самой его смерти. У него были первоклассные экземпляры собак этой, на вид страшной, породы. Хорошо помню черных без отметин братьев Кастора* и Поллукса**, которых охотно покупали

* Кастор был украден. Его свели со двора по приказанию одного предводителя дворянства (sic!), остановившегося в гостин. “Париж” рядом с нашим магазином, где он его и видел, зайдя купить фуражку. — *Прим. А.В. Живаго.*

** Поллукс, уступленный несколько ранее, вследствие неладов с братом Кастором, очень полюбился своему новому хозяину, одному оч. богатому подмосковному помещику. Его испортила прислуга, притравливая его в отсутствии хозяина и он однажды оторвал большой кусок губы у игравшей у подъезда любимой редкостной пристяжной. Расстроенный барин уехал за границу, бульдога посадили на цепь, отчего он и пал вскоре, порвав мальчугана, сына повара. — *Прим. А.В. Живаго.*



в Англии, красно-рыжую, черномордую медальерку Армиду, трехцветного могучего Бокса и, наконец, тигрового Бокса, сопровождавшего покойную мать, пившую воды, в ее утренних прогулках по Каменке и устрашавшего своим внушительным видом обходивших их сторонкой подозрительных субъектов. Небольшой, крепко сколоченный, тигровый Бокс, в общем крайне добродушный, не выносил кошек. По возвращении с дачи в Москву он рвал их на дворе Бронного дома чуть не десятками, пока не перевел всех. Своей живости и крайней стойкости в драке он немало был обязан далеко не очень породному датскому догу Марсу, с которым он жил в неразрывной дружбе около 10 лет. Палевый Марс по своему виду походил на тех псов, которыми старинные мастера на своих картинах окружали богиню Диану-Охотницу. Отличный сторож, этот очень умный пес был общим любимцем нашей семьи. Он особенно любил сопровождать нас на прогулках и не было сил оставить его в таких случаях дома. Он не только сам легко перепрыгивал через довольно высокий забор, окружавший палисадник нашей дачи, но и обучил этим прыжкам своего малорослого друга, крепкого Бокса. К числу недостатков Марса принадлежало его неукротимое стремление душить чужих уток и особенно гусей, которых он ловил, стараясь незаметно скрыться с дачи, на большом дворцовом пруде. Немало денег переплатил отец останкинским дачевладельцам из бывших графских крепостных, являвшихся с жертвами охоты Марса в руках.

Оттрепал я за бороду одного старовера, дачевладельца Московской Слободки, и отнял у него старинный пистолет, из которого он однажды, встретив меня с собакой на прогулке, хотел стрелять в Марса, спокойно шедшего у ноги. Привязанность Марса ко мне казалась мне трогательной. Целые дни он нередко проводил под окном моей комнатки нижнего этажа Бронного дома, где я, уже будучи студентом, усиленно занимался. Поставит свои некортко обрезанные уши и глядит на меня в окно. Совсем больной, с парализованным задом, и уже пролежав несколько дней не вставая, кое-как приплелся он проститься со мной в тот день, когда вечером нашли его павшим на соломе небольшого запасного стойла, где он доживал свои последние дни.



Последним отцовским бульдогом был светло-палевый Боб, разорвавший чуть не насмерть во Владыкине офицерского сенбернара, когда тот, не соразмерив своих сил, напал на небольшого головастого пса поразительно могучей колодки. Висел он, бывало, по часу, судорожно впившись зубами в полотенце и мастерски пригибал к земле толстенькие стволы осин и рябин, что было почему-то любимым его занятием. Осенью, вскоре по переезде с дачи в Москву, он пал скоропостижно. Будучи на вид совершенно здоровым и бодрым, он спрыгнул с ларя, стоявшего в коридоре магазина, и оказался мертвым. Приглашенный ветеринар вскрыл молодого двухлетнего пса и нашел мускулатуру его сильно растянутого в полостях сердца крайне дряблой.

Уход за псами в летнее время поручался нам. В задачу их воспитания входило самое кроткое, ласковое обращение с ними — притравливаемые и обозленные бульдоги становились опасными. Многие из этих добродушных и очень привязчивых псов жили у нас подолгу и были общими любимцами в доме и на даче.

Любимыми играми останкинской молодежи были “городки” и “лапта”. Часами играли мы, разбиваясь на партии, в эти русские игры. Нам незнакомы были модные ныне лоун-теннис, футбол и пр. Из числа веселых, ладных молодых ребят, большей частью наших сверстников, упомяну среди других, кроме братьев Кун, братьев А. и С. Фроловских, Соколовых, Максимова и Александра Зальца, дядю по матери Ольги Леонардовны Книппер, известной артистки Художественного Театра, вышедшей замуж за Антона Павловича Чехова сравнительно незадолго до его кончины. Богатырь по силе, невысокий, коренастый и круглоголовый брюнет с низким лбом и ласковыми черными глазами, Саша Зальца безумно любил природу. Дни напролет он старался проводить в прогулках по лугам и лесам. Закалив свой организм самым суровым образом, он не боялся ни зноя, ни холода. Ранней весной, не дожидаясь пока река очистится от льда, он уже “тянул” из противной для него Москвы куда-нибудь в окрестности, ища возможности нагуляться и даже закупаться вволю. Не могу забыть одной прогулки, на которую он увлек нас однажды ранней весной. Раздевшись на берегу Яузы и обвалывшись в прибрежной грязи, залез он на толстый, облупившийся сук



корявой сухостойной осины и оттуда, с весьма значительной высоты, чебурахнулся в ледяную воду и долго плавал по реке, изображая своего “бегемота”. Ему легки были наши увесистые осиновые битки, которыми мы разбивали городки. В таких случаях он заготавливал себе поражавшие нас величиной и тяжестью слег и сметал ими самые замысловатые построения. Его “свечки” при игре в лапту скрывались в поднебесье. Он отличался большой изобретательностью, придумывая разные проделки, которыми мы нередко забавлялись сообща. Как белка, он с сука на сук облазает, бывало, гигантские кедры, обрывая и кидая нам вниз громадные шишки, набитые превкусными глубокой осенью кедровыми орехами. К пугавшим нас сторожам он относился с полным презрением.

Непрошенный и надоедливый, вечный цензор наших нравов, до смешного маленький Фед. Карлович Гедике, много лет служивший органистом и аккомпаниатором в императорской опере, более месяца не осмеливался ходить в останкинский парк. Саша рассадил нас в густых зарослях жимолости и акации, обрамлявших дорожки садового цветника и велел нам попутать почтенного немца. Гедике чуть не обезумел от ужаса, слыша таинственные голоса, еле слышный шепот, несшийся с разных сторон совершенно безлюдного парка. Замогильные, протяжные “Г-е-е-едике, Ге-е-едике” в разных тональностях привели его наконец в постыдное бегство. Другой закоулок пришлось искать для своих прогулок педантичному немцу.

Романтически настроенные, три зобатые старые девы, дочери бывшего графского камердинера Кухтенкова, декламируя стихи, любили гулять в лунные ночи по парку. Александр Зальца решил однажды, что необходимо нарушить их безмятежное настроение. На залитом фосфорическим светом луны мраморном и холодном сфинксе садового фасада дворца они вдруг узрели античный торс юного Вакха с изящно поднятой рукою в одном черном галстуке на могучей шее. Затаившись в кустах мы видели, как упала в обморок старшая, самая высокая дева, сраженная неожиданной картиной. Мы никогда потом не встречали их в парке.

Когда-то гимназист, он, будучи старше меня тремя годами, перед самым началом Русско-Турецкой войны закончил образование



в Александровском Военном Училище и вышел совсем юным подпоручиком, душой стремясь на войну. Офицеры московского гарнизона тянули жребий. Счастливый, как он мне сам впоследствии рассказывал, он считал себя уже зачисленным в поход, когда вдруг узнал, что заменен другим. “Имел я, видишь ли, несчастье вытащить из воды утопавшего в Москве-реке офицера во время лагерного сбора на Ходынке. Из благодарности этот карьерист и подал заявление, что желает меня заменить. Его зачислили, а мне, как ни объяснял, как ни хлопотал, безповоротно отказали. Знал бы, не стал бы его спасать, даже жалел я тогда, что умею плавать!..”

Долго служил А.И. в Перновском полку, любимый товарищами и солдатами, но, к сожалению, стал пить. При первом же известии о загоревшейся Русско-Японской войне он оказался в числе первых, подавших прошение о зачислении его в передовые отряды наших войск. Собрав вокруг себя многих молодцов из своей роты, он живо снарядился и, командуя ротой, стоял уже под Тюренгенем. Но ему не удалось участвовать в лихом бою; его, перед самым боем заболевшего тяжелым крупозным воспалением, спешно вывезли и вместе с другими больными мучительно долго везли на манчжурских подводах в Лаоян. Выздоровев и потеряв свою роту, причисленный к кому-то, он загрустил и стал пить еще сильнее. Вернувшись после целого ряда боев в Москву и брошенный здесь на произвол судьбы, он года через два, уже психически больной, скоропостижно скончался, едучи на извозчике по Хамовническому переулку. Узнав о его смерти, от души пожалел я этого могучего, доброго и душевного товарища былых лет.

Купались мы в Останкине по нескольку раз в день. Лет 4-х я тонул и, спасибо Екатерине Алексеевне, я был спасен — она вытащила меня, уже успевшего основательно нахлебаться воды, за штанишки, спохватившись меня на мостках купальни. Одним из любимейших sports останкинской молодежи было отстаиванье крепости-купальни от нападавших на нее на лодках корсаров. Часто дело кончалось потоплением судов и запрещением посещать прекрасную большую купальню тетушки Елизаветы Родионовны Баклановой. Тетушка, как проживая на своей даче в Останкине, так



и в Москве в роскошном особняке на Моховой, против Румянцевского музея, любила видеть брата Романа и меня у себя чуть не каждый день, чем доставляла неудовольствие нашей матери, не один раз заявлявшей ей, что “мы оба совсем не ее дети”. Что делать, идут охотно всегда туда, где весело, где гладят часто по головке, да балуют. Сверстники и сверстницы, кузены и кузины жили в большой дружбе и, правду сказать, немало уроков (и подчас далеко не высокого достоинства) преподано нам было старшими сыновьями Елизаветы Родионовны.

Памятна нам и еще одна семья, куда влекло нас с братом. Проживала она на маленькой грязноватой дачке Московской слободы. Арендовавший Мурашевское подворье в Зарядье, старик Максимов, снял дачу для семьи, на другой же год умер, оставив на руках своей жены, “бой-бабы”, сына Владимира и трех дочерей: Веру, Надежду и Сашеньку. Плоховато жилось небогатой семье, но веселья на даче их было хоть отбавляй. С сыном хозяйки, Володей, я одно время учился в гимназии и поддерживал дачное знакомство. На останкинских вечерах мы с братом Романом и бр. Кун познакомились с матерью и барышнями Максимовыми и были приглашены бывать у них на даче, куда частенько, зачем скрывать, и отправлялись поздно вечером, вылезая через окно своей комнаты, зная, что наши знакомые особым расположением матери не пользовались.

Чуть не каждый день, а иногда и очень поздно, на гостеприимную дачку приезжали опереточные артисты труппы Михаила Валентиновича Лентовского, игравшей летом с громадным успехом в саду “Эрмитаж” на Божedomке. За скромной закуской с дешевеньким вином и пивом познакомились мы с известным тенором, любимцем московской публики, кавказцем А.Д. Давыдовым, с тенорами Лодиели и Стрешневым, с комиком Волховским и другими. Бывал, но редко, и Радон, очень умный и образованный человек и на редкость талантливый комик. Вели себя гг. артисты вполне прилично и чуть не ночь напролет бренчали гитары, пелись цыганские песни, ариэтки, куплеты, шла болтовня, сообщались пикантные новости. На рассвете торжественно справлялся исход артистов *per pedes apostolorum** в сторону Москвы. Издалека,

* Апостольскими стопами, пешком (лат.).



из-под самой Марьиной деревни, долго несло их Jodelog, хорошо слышное по утренней росе. А то, бывало, с кулями да корзинами, при свете фонариков, вся компания покинет дачу и направится куда-нибудь пикником. На высоком обрыве окраины леса под Халатовским имением Свибловым особенно полюбилось местечко и сколько чудных шашлыков, приготовленных на ямках Давыдычем, было съедено нами там. Кавказский сыр, дешевенькое красное вино, крымские яблоки и прочая незатейливая снедь и напитки уничтожались нами без остатка под аккомпанимент рыдавших гитар, “Ночей безумных” и “Очей черных”. Здесь, помнится, впервые перед слушателями спел Александр Давыдович свои знаменитые “Пару гнедых” и пел так хорошо, что хватало за душу. Ободняет совсем, развежится компания и не охота плестись ко дворам.

Гуляли ночами мы и в других компаниях и слушали чудное пение, но свибловских ночей не забыть!

Не поставил я себе задачей излагать здесь то, что хорошо помнится мне из дальнейшей жизни моих родителей и других членов их семьи.

Кратко упомяну я только то, что в возрасте 50 лет в состоянии здоровья покойного отца наступила резкая перемена. Живой, бодрый и хорошо упитанный дотоле, он сильно похудев в один год, стал хиреть, обращался к врачам за советом, лечился, раза два покидал семью для поездки на юг. Параллельно расшатывалась все более и более его нервная система. Сильно стали беспокоить и утомлять его коммерческие дела, волновали переезд магазина в новое помещение в соседнем доме Коммисарова и перестройка Дмитровского дома. Страдал он резким атероматозным перерождением сосудов. Сделавшись в 1886 году врачом, я наблюдал за ходом его болезни, почти ежедневно посещая его и устраивая консилиумы с пользовавшимися известностью врачами. В 1888 году осенью я провел с ним около двух месяцев в Ялте, где отец как бы немного ожил. На этот раз пребывание осенью на юге рекомендовал ему профессор Г.А. Захарьин, к которому на совет я возил отца, страдавшего в то время уже ясно выраженными симптомами аневризмы аорты. Сильно постаревший и физически



весьма слабый, жил он летом 1889 г. на даче в с. Владыкине, понеживаясь и греясь на солнышке и страдая почти полным отсутствием аппетита. Скончался он внезапно в часа 2 дня 17 дек. 1889 в возрасте почти 62 лет.

Мать на много лет пережила отца, комфортабельно устроившись в большом доме на Садовой. Она часто по нескольку месяцев проводила в Германии, гостя у младших сестер, вышедших замуж за германских врачей, состоящих главными врачами шварцвальдских курортов С-Блазиена и Баденвейлера. Нередко за последние года проходила она курс лечения в Висбадене, недомогая на почве хронического ревматизма и подагры. Не имея уже сил выезжать за границу, она проводила летние месяцы двух последних лет жизни в Сокольничьем санатории. Скончалась она в возрасте 74 лет в ночь на 16 дек. 1912 г. от порока сердца и при явлениях хронического воспаления легких. Ровно за полгода до ее смерти 15 июня того же 1912 г. скончался на моих руках и в присутствии младших сестер в курорте Баденвейлер брат Леонид в 50-летнем возрасте. Худой и слабоватый в детстве, он впоследствии пользовался цветущим здоровьем и отличался большой физической силой и выносливостью. Сильно похудел он и ослаб за последний год жизни, страдая тем же перерождением сосудов и мышцы сердца и хроническим нефритом.

Отец, мать и брат похоронены рядом у церкви Покровского кладбища.

В далеко не полном жизнеописании покойного отца Василия Ивановича и его семьи я не касался вопроса о школьном, гимназическом и университетском образовании его детей. Коснуться же этого вопроса, весьма важного в нашей жизни, необходимо, но здесь, по вполне понятным причинам, мне придется ограничиться изложением тех, уцелевших в моей памяти, подробностей, которые так или иначе имели отношение ко мне. Попутно мне придется, может быть, не один раз вскользь коснуться некоторых деталей из школьной жизни моих братьев, которые сами, была бы на то их воля, могли бы зарисовать на память картины из этого периода их жизни.

В начале этой части моей маленькой работы я считаю необходимым установить, где кончили курс наук мои братья, сестры



и я. Роман и Леонид учились в Моск. Практической Академии Коммерческих Наук. Роман прошел, кроме шести общеобразовательных, два специальных класса, получив звание личного почетного гражданина в 1873 году. Леонид не был в специальных классах, закончив свое образование шестилетним курсом. Братья Александр и Максимилиан учились в Имп. Московск. Университете, где я в 1886 г. получил звание врача, а брат — кандидата права в 1887 г. Брат Сергей кончил четырехлетний курс наук на Юридическом фак. Моск. У-та, но государственных экзаменов не держал. Сестры Мария и Леонилла учились в 1-ой женской гимназии, где, окончив свое образование, получили дипломы. Наконец, сестра Елизавета кончила курс наук в частной женской гимназии Мага и Бесс.

Задача дать надлежащее образование детям нелегка. Как определить, какое выбрать для каждого из сыновей, по какой дороге, так сказать, направить того или другого? К чьей помощи обратиться, с кем посоветоваться? Не знаю, но смею думать, что эти, как и некоторые другие вопросы, наверно, обсуждались моими родителями сообща с двоюродным братом отца, инспектором Практической Академии, Иваном Михайловичем. Не ему ли принадлежала идея отдать брата Романа и меня в школу некоего Керкова при реформатской церкви? Согласно принятому решению, сперва пансионером этого училища сделался мой брат, а затем в 1870 году во второй класс поступил и я, мальчуганом 10 лет. Далеко от мысли винить за это моих родителей или их советников, но мое сильное изложение всего того, что выпало на мою долю как в этой школе, так и в частной гимназии Креймана, с очевидностью должно, как мне кажется, показать, сколь пригодно давать начальное образование своим детям в подобных школах, предполагая в дальнейшем перевести их в казенное учебное заведение, дающее те или другие права. Взямая весьма значительную плату за воспитанников, эти учебные заведения давали взамен так мало, так плохо и бессистемно обучали, плохо дисциплинировали своих питомцев, что вряд ли можно было считать хотя бы самое малое количество из тех, кто, закончив в них свое образование и перейдя в казенные гимназии, могли бы успешно учиться в последних. Не пользовался ли пансион Керкова



славой учебного заведения со строгой дисциплиной, могущего справиться и направить на путь истинный любого своевольного и шаловливого или испорченного мальчугана? Если это отчасти, хотя, может быть, и совершенно ошибочно, должно было быть применено ко мне, как к 10-летнему баловнику, то были ли, хотя какие-либо основания применять эту меру исправления к брату, не проявлявшему никаких дурных наклонностей?

Поплакала Екатерина Алексеевна, провожая своего любимчика Сашу в пансион, предварительно подарив ему деревянный разборный домик, который долго затем стоял и пылился на громадном шкафу, служившем мне не один раз убежищем, где можно было скрыться от преследований тех, кому, в силу тех или других обстоятельств, это было необходимо.

Как сейчас помню я дождливое осеннее утро, когда уложенные накануне в большую корзину белье, платье, книги и сласти водружались на козлы, а мы с Екатериной Алексеевной, помолвившись Богу и проливая слезы при прощании, усаживались на просторном сиденье пролетки старенького ваньки. Я был уже ранее один раз в том большом доме, где помещалась школа, и с интересом вертел головой во всех направлениях, рассматривая карты и картины, развешенные на стенах кабинета экзаменовавшего меня директора.

Школа Эме (Любима) Васильевича Керкова помещалась в узеньком Трехсвятительском переулке близ Покровского бульвара и Хитрова рынка. Старое, но вовсе не мрачное, с его большими окнами среднего этажа по фасаду, здание это прилегало с одной стороны к реформатской церкви, а с другой было ограничено довольно большим двором от трехэтажного громадного корпуса — складов фабриканта Саввы Морозова. Напротив помещалось старенькое, выкрашенное охрой здание Мясницкой пожарной части с его каланчей, по галерее вышки которой размеренным шагом вечно сновали в одну и ту же сторону дежурившие пожарные, и довольно большим двором с сараями, из которых по тревоге выезжали пары рыжих лошадей, запряженных в бочки, и тройки с серым народом в касках и длинными лестницами.

Встреченные в прихожей какой-то сухонькой, сердитой на вид маленькой женщиной, мы спешно расцеловались и расстались



в первый раз на целую неделю. Обратившись ко мне на немецком языке и приказав вместе с нею нести корзину за ручки, хозяйка повела меня по лестнице на верхний этаж школы, где были дортуары. Указав мне постель рядом с постелью брата, она велела мне выложить все привезенное из корзины на серое байковое одеяло постели и, осмотрев привезенное добро и понюхав объемистый мешок с яблоками, пряниками, буль де гомом, черносливом и грецкими орехами и отложив в сторону привезенные мною книги, молитвенник и Евангелие, она все остальное вновь запихала в корзину и засунула ее под постель. Вручив мне книги, тетради и пенал с перьями, она молча повела меня вниз, где передала с рук на руки своему мужу, директору. Обдавая меня клубами сигарного дыма и возложив на мою стриженую голову свои чрезмерно длинные руки, Mr Kerkow проговорил певучим голосом "tu sera bien sage ici"*.

Он немедленно привел меня в большую классную комнату, помещавшуюся рядом с его кабинетом и, указав мне место на второй скамейке, ушел. Не успев освоиться со своим новым положением, не успев даже оглядеться, как следует, я был окружен толпой учеников разного возраста, из которых некоторые тут же сочли вполне уместным заклеить новичку здоровые затрещины.

Увидав, что я не поднял рева, а напротив вскочил и собрался ответить первому попавшемуся, они с хохотом разбежались и начали дразнить меня, называя обезьяной в очках. Сходства с обезьяной во мне не было никакого, напротив, когда меня били, мне удалось найти именно это сходство у двоих из мальчиков, оскаливших на меня свои гнилые зубы и удивительно похожих на тех обезьян, что я видывал на картинках в моей любимой книге "Робинзон Крузо".

Это обидное прозвище, которое, кстати скажу, за мной не удержалось, дано мне было, видимо, сгоряча. Быстро в их мозгах сложилось оно под влиянием тех стальных очков, которые они увидели на моем носу и которые заставили их почерпнуть материал для прозвища из знакомой басни Крылова. Я забыл упомянуть, что

* Послушным здесь хорошо (фр.).



с весны 1870 г. я по предписанию доктора Ложечникова носил очки. Довольно сильный номер оказался уже нужен мне, отличавшемуся и тогда сильной степенью близорукости. Долго я привыкал к ним, много очков переломал и растерял. Их иногда снимал дворник с кустов, подстригая акацию, буйно разраставшуюся вокруг нашего дачного палисадника, не раз терял я их на дне купальни, когда, забыв их снять, кидался в воду. Били и ломали мне их мальчишки, с которыми мы заводили драки у старой оранжереи графа. Особенно ненавидели нас дети нашей прачки Алены, делая на нас свои нападения и давая нам возможности выработать свои приемы борьбы и боя. Братишке Максуду одним из этих драчунов раскроили лоб камнем. Брат был отомщен, но более рыцарским образом — связанного негодяя мы, по совету и с помощью дворника, отодрали крапивой.

Те же изученные мною вместе с братьями приемы защиты и нападения помогли мне и в школе освободиться от роли мишени, по которой могли бы с успехом упражняться мои новые товарищи, тем более, что нередко в особо затруднительных случаях и положениях меня выручал брат или кто-либо из его более взрослых одноклассников, почему-то расположенных ко мне. Припоминается мне, между прочим, громадный толстый немец по фамилии Дитмарс; доведя его однажды на дворе до белого каления и пробуя спастись от тяжелого, уже рисовавшегося мне возмездия, я быстро сбежал вниз по лестнице, ведущей к двери подвала и поднял крик. На мои призывы сбежались товарищи брата и, на глазах грубого тевтона-надзирателя, расправились с растерявшимся германцем, запретив ему раз и навсегда меня “обижать”.

Оригинальное мое первое знакомство с одноклассниками закончилось на этот раз тем, что в класс мелкими, торопливыми шажками вошла мадам, и начался мой первый урок немецкого языка, который она там преподавала.

Суровый, несколько сутулившийся, высокий и сухой, бородатый швейцарец Эме Васильевич от своей маленькой, худенькой и казавшейся старой супруги с птичьим лицом и маленькими, вечно мигавшими глазами, насколько помню имел двоих детей: некрасивую дочь, уже помогавшую хлопотунье-матери,



и тоненького, как жердочка, сына Ренэ, учившегося в одном классе со мной.

Чуть не в 5 часов утра вставала хозяйка и с одной из своих кухарок бежала на рынок. На нее было возложено весьма много обязанностей по хозяйству, которое она вела, соблюдая строгую экономию и высчитывая каждую копейку. Часа два в день она употребляла на уроки чистописания и немецкого языка, которые она преподавала во втором классе. Она восседала за каждой трапезой, разливая суп и зорко посматривая за своими плотными, здоровенными девками, подававшими кушанья воспитанникам и надзирателям, бывшим с ними за одним столом. Мужа и детей она кормила отдельно. Мне, как и другим воспитанникам, приходилось здесь обедать по-семейному только в те воскресенья, когда, лишенные за провинности отпуска, мы проводили праздник в стенах школы, долбя наизусть quatre pages* словаря, приложенного к знаменитой книге переводов Margot. В этих случаях нам давали за столом гуся, свинину или сосиски, которые собственноручно изготовляла сама мадам, подкармливая жирных свиней остатками своих скверных школьных супов, обедками и корками хлеба.

Вставали мы обычно в 7 часов утра, умывались, обязательно обливаясь и полоскаясь в холодной воде. Живо одевшись, мы собирались на общую молитву во втором классе, зимой и осенью часто совсем еще темном и затем шли в столовую, где пили отвратительный, жидкий, забеленный молоком, чай, закусывая микроскопическим розанчиком. С 8 часов начинались уроки, которых до завтрака было три. После часовой прогулки по прилежащим частям города, мы завтракали. Завтраком нас долго не задерживали. Он имел какой-то специально картофельный характер. Подавался картофель или вареным с чухонским маслом или “в мундире”, или же, наичаще, в виде пюре, которого наложишь себе, бывало, на тарелку, как можно больше, так как при большом его количестве удавалось, производя форменные раскопки, изыскать и извлечь микроскопические кусочки какого-нибудь мяса и, чаще всего, солонины. Черный хлеб буквально пожирался и им

* Четыре страницы (фр.).



нередко набивались карманы штанов. После завтрака нас выгоняли на полчаса на двор, где доедался хлеб и откуда несли неистовый ор, оглашавший окрестности. С часу до четырех новые три урока, после которых в обеденном зале со столами, приставленными в таких случаях к стенам, нам три раза в неделю давал уроки танцев мсье Монтассю, известный в то время учитель танцев и хороших манер.

Препотешную фигурку имел этот маленький, гибкий человек во фраке с длинными фалдами и в штанах в обтяжку, из-под которых вылезали элегантные лакированные туфельки с пряжками. Подыгрывая себе на скрипке, юркий смуглый французик с подкрашенной коротенькой эспаньолкой ни минуты не оставался в покое. Подвижное лицо его уморительно дергалось в такт, в такт он поднимался в несколько приемов на носки. Уча нас первой, второй и третьей позициям, он элегантно проделывал их чуть не перед каждым оболтусом, которых, обегая, он иногда оживлял ударами смычка по затылку. Напевая мотив и бросив скрипку, он любил вальсировать по залу со своими любимцами, к числу которых принадлежал и брат Роман. Оттоптав контрданс, а попросту кадрили или лансье, мы расходились, обтирая руками градом катившийся с нас пот.

До обеда, к которому звонили в 6 часов, мы готовили уроки. Обыкновенно в это время, отвлеченные какими-нибудь расспросами подосланных учеников, надзиратели делали вид, что не замечают ни драк, ни полетов по классу больших бумажных стрел, комьев жеваной бумаги и туго свернутых из бумажных листов жгутов, которыми обстреливались с помощью резинок классная доска, стены и потолок...

От 8 до 9 вечера — урок гимнастики. Столы в зале убраны, в залу из коридоров введены “кобылы” и параллельные брусья. Пары воспитанников следуют за парами и, соблюдая порядок и точность исполнения гимнастических задач, работают исправно, так как гимнастику преподает сам директор. За уроками гимнастики мы, по правде сказать, уставали стоять, дожидаясь своей очереди.

После вечернего чая, но без розанчика, на трех языках, русском, французском и немецком читалась Молитва Господня, которой



завершался шумный день. Но перед тем, как идти спать, директор тут же в зале обращался к воспитанникам с вопросом: “e’h bien, qui a’ la langue?”*. Вполне понятно, что у всех было по языку, но здесь дело шло о предательском куске картона, обшитом красным сукном. С ним по классам, залам, по двору кралась воспитанники, выслеживая тех товарищей, что говорили по-русски и, отделившись от него, носились веселые и счастливые. Переменив за день чуть не сотню проштрафившихся, язык к вечерней молитве должен был, наконец, объявить своего несчастливого обладателя. Пропасть он не мог, каждый ученик обязан был помнить, кому он всучил его и при случае назвать. Виновному в разговорах на родном языке во французский или немецкий день директор выносил суровый приговор. Часто глупое и весьма длинное немецкое стихотворение или quatre pages лексикона Margot долбил виновный наизусть и долбил до тех пор, пока не ответит точно, ни разу не сбившись в порядке напечатанных слов со всеми их masculin fe’minin. Получая “язык”, сильный частенько давал слабому подзатыльник или удар ногой куда попало. Но радость освобождения от этой красной пакости, делала людей, положительно, нечувствительными к побоям... Глубокое отвращение у всех нас, детей, вызывал этот педагогический прием.

Постели дортуаров, освещенных еле горевшими лампами, быстро заполнялись усталыми за день воспитанниками. Не успев как следует улечься, многие уже похрапывали, но долго еще из двери в дверь своими длинными ногами мерил ширину трех больших дортуаров сам директор в халате и мягких туфлях. Да и глубокой ночью он не один раз встанет, и вновь появится его длинная, согнутая слегка фигура среди спящих и нередко слышно что-то во сне бормочущих пансионеров. Бывали случаи, что он накрывал любителей почитать Ксавье де Монтепена или Рокамболя, хотя бы в полутьме. В таких случаях он молча подходил к постели, брал книгу и уходил, и вряд ли спал эту ночь любитель чтения, обдумывая, в какую цену обойдется ему эта его любовь...

Директор преподавал во всех классах, а было их шесть, французский язык. Он был весьма требователен, его боялись, уроки,

* Ну-с. у кого язык?” (фр.).



заданные им, учили старательно, но ученики, особенно младших классов, не могли справиться с задаваемым им, так как многого не понимали, а многое было и свыше их сил. Как огня боялись мы переводов с русского на французский, а особенно этих громадных диктантов. Над нами всегда висело грозное наказание за ошибки, которых мы, мальчуганы, не могли не наделать в изобилии на тех, например, трех страницах, что спешно исписывались нами на уроках. Ходя по классу своими громадными шагами, Эме Васильевич монотонно и почти без повторений, диктовал нам далеко не легкий текст какого-либо французского рассказа, а мы, спеша и донельзя волнуясь, старались писать, поспевая за ним кто как мог. Бегло прочтя и кое-как вписав недописанное, мы отдавали тетради и с ужасом ждали их возвращения. Наказание за большое число ошибок было очень тяжело, и я бы назвал его мучительным.

Однажды, привожу это, правда, как исключительный пример, я, раскрыв тетрадь в четверг, увидел краткую и лаконичскую фразу, красовавшуюся в конце моей работы, испещренной поправками — “101 fautes — copier 101 fois”*. В субботу, перед отпуском домой я должен был подать свою толстую черновую тетрадь, где без всяких пропусков и чистенько должны были быть переписаны 101 раз ужасные три страницы. В эти два дня не имел я свободной минуты, не считая уроков и обязательной прогулки по улицам и переулкам с надзирателем во главе колонны и еле успел справиться с этой мало осмысленной и, положительно, дикой работой. До слез ныла плохо слушавшаяся рука, рябило в глазах и было мучительно то напряженное внимание и волнение, которыми оно сопровождалось. Счастьем считалось получить этот странный пенитарный заказ в первые дни недели, но и в таких случаях иногда бывало немногим легче, так как супруга директора, подражая своему мужу, также нередко возвращала немецкую тетрадь, где своим, чуть не бисерным, почерком радовала приказанием — “46 Mal die ‘wei Leiten recht sauber ueber schreiben”**. Не подать в субботу к четырем часам дня эти заслуженные труды — останешься

* 101 ошибка — переписать 101 раз (фр.).

** Переписать 46 раз две страницы чисто и правильно (нем.).



на воскресенье в школе и, окончив писание, начнешь долбить какое-нибудь “mit Dolch im Gewande”, с грустью и тоской вспоминая о братишках и о родителях, которые, наверно, “гневаться изволят”.

Нашим рассказам и слезам не верили, судили о нас по тем поступкам нашим, о которых красноречиво говорили краткие рецензии в запечатанных пакетах, уведомлявшие наших родителей. Эти малоприятные для нас, “Nachrichten” или препровождались родителям по почте, или же вручались для передачи нам. Последний способ доставки, помнится, нравился нам менее. Грамматика, диктанты и переводы и изучение наизусть произведений французских и немецких классиков отнимали у нас много времени, зато на другие предметы, на русский язык, арифметику, географию, естественную и отечественную истории и на закон Божий нам оставалось весьма мало времени. Приготовление уроков, как я уже сказал, было почти невыносимо. Тот гвалт и шумное безобразие, в котором принимал, по весьма веским причинам, участие и сам автор этих записок, положительно никогда не давали возможности сосредоточиться тем более, что в нашей школе долбление а’ haute voix* не только разрешалось, но даже похвалялось. На уроках закона Божия историю Ветхого Завета рассказывал нам во втором классе серьезный батюшка о. Ансеров, почти к каждому уроку требуя выучить ту или другую молитву. В третьем классе он подолгу останавливался на разъяснениях нам вопросов и ответов Филаретова катехизиса и читал главы из Евангелия. Его уроки проходили всегда в полнейшей тишине и, вместе с уроками директора, служили часами чуть ли не единственного отдохновения наших барабанных перепонок от безобразного шума нашей повседневной жизни.

Уроки арифметики, естественной истории и географии считать за уроки вряд ли было возможно. На этих уроках творилось что-то неопишное. Вряд ли кто слышал в классе что-либо из-за того галдежа и треска, которыми уже встречал учителя класс сорванцов, предводимых перестарками — купеческими сынками, сидевшими

* Громко, вслух (фр.).



по два года в каждом классе и весьма дурно влиявшими на своих младших товарищей. К числу тех способов, какими пользовались эти главари, чтобы держать в подчинении набранные ими команды, принадлежал, например, тот, к которому, если не считать колотушек, постоянно прибегали братья Усачевы, разбрасывая по классу в понедельник целые пакеты карамелек. Их ловили их сторонники и горой всегда стояли за своих щедрых предводителей. К чести моей скажу, что этими взятками они ни разу не соблазнили меня, за что мы и считались врагами. Во всеуслышание они и им подобные рассказывали в классе непечатные анекдоты самого армейского характера и, надо сознаться, многие из нас даже не были в состоянии усвоить себе в то время всю суть их грязного содержания. С ними не было никакой возможности бороться, так как их изобретательность в бесстыднейшем направлении не имела пределов. Помочиться во врезанные в парты металлические чернильницы им ничего не стоило. В третьем классе один из них чуть не окривил нового учителя географии, Березина, метко разбив ему надбровную дугу туго скатанной и согнутой бумажной “стрелой”, выпущенной с натянутой между пальцами резинки. Проступки не выдавались, наказаниям в силу этого почти обычно подвергался весь класс. “Фискалы” не нашли бы у нас в школе ни одной минуты покоя и поручиться за их безопасность было бы невозможно. Жалкий заморыш, учитель Березин, с космами белокурых волос, торчавших в разные стороны вокруг его громадного лба, с ужасом, надо думать, входил в класс; ему часто самолично приходилось по нескольку раз за время урока обчищать большую географическую карту Европы, сплошь облепленную громадными комьями жеваной бумаги. Много писчей бумаги приносилось в школу воспитанниками. Она была необходима для изготовления всевозможных метательных снарядов... Красивый, суховатый брюнет, немец Раша, преподававший в третьем классе немецкий и латинский языки, согнув указательный палец, нередко бил им по лбу нерадивого оболтуса-лентяя и подолгу высмеивал отличившихся каким-нибудь “глупством” воспитанников, давая нам разнообразнейшие клички... Преподавание латинского языка Негг Rascha ограничивал собственно говоря тем, что заставлял нас



долбить исключения разных склонений, располагая слова в рифмованные строки, обильно пересыпанные немецкими словами, а иногда и целыми фразами, весьма мало вязавшимися с красиво звучащими латинскими. Построенное на этом долблении изучение латинского языка не принесло нам большой пользы, зато в памяти кое-что осталось. Запас этих латинских quasi-стихов и, в добавление к ним, ряд заученных мудрых изречений и афоризмов (на манер “Ultimus hat viel Verdru..., wenn er die ...afel lecken muss”) был бы, без сомнения, вполне пригоден, если бы для продолжения нашего образования судьбе угодно было направить нас в благородное отечество нашего преподавателя, но здесь, на родине, это импортированное в Россию, оригинальное рифмоплетство принесло мне лично, по крайней мере, существенный вред, как об этом мне придется упомянуть в дальнейшем...

Жалким казался нам худой, чернявый молодой человек, дававший нам уроки естественной истории. Никто не поверил бы, видя его в то время, что так скромно начинал свою карьеру махрового хама прославившийся впоследствии инспектор студентов Московского Университета Брызгалов*. Пробовал он заинтересовать нас всякой всячиной и без всякой системы. То, бывало принесет он в класс добытый где-то бычий глаз, то поднятую, должно быть, на улице обмерзлую ворону. Он разрезал принесенное и мягким голосом с вечной улыбкой на устах толковал нам о разных соотношениях тех или других органов между собой.

Уроки рисования, которые я очень любил, были не чаще двух раз в неделю. Они были обязательны для всех, но многие из товарищей их ненавидели. Преподавал рисование сам директор, талантливый художник. Мы особенно любовались двумя его довольно большими картинами, висевшими в столовой, на одной из которых масляными красками были изображены лошади у водопоя, а на другой стадо

* В период его “не тем будь помянутой” славы, как-то раз брату Максимилиану вспоминал с отвращением свою вину проф. Мрочек-Дроздовский. А винил он себя в том, что принял участие в понравившемся ему, при первой встрече, деликатном молодом человеке, дирижировавшем танцами в каком-то дачном подмосковном поселке. Он хлопотал за него перед университетским начальством, помочь ему пролезть в субинспектора и таким образом “пригрел змею”, натворившую впоследствии много зла в стенах нашего университета. — *Прим. А.В. Живаго.*



коров. Брат Роман, Александр Крюгер и я радовали нашего учителя и, думается, кое-что нам даже прощалось за эту нашу успешную работу. Здесь, в школе я особенно пристрастился к рисованию животных, пользуясь коллекцией прекрасных литографий директора. Жаль только, что и в преподавании рисования не проводилось также никакой системы. Очень редко перед учениками ставились те или другие белые, захватанные пальцами кубики и фигуры для рисования с натуры.

Припоминаю, что в дурную погоду вместо прогулки, забившись куда-нибудь в уголок класса, я искал возможности срисовать какую-нибудь новую лошадку или корову. Но это редко мне удавалось, так как то представлялась необходимость выступить в числе бойцов своей партии для того, чтобы отразить нападение противников, то увлекут к окну, на подоконнике которого уже давно состязаются в игре в “перышки”. Незадолго перед тем появившиеся стальные перья быстро не только исключили потребность в гусиных, но и расплодили коллекционеров, собиравших очень модные тогда ассортименты все новых и новых фасонов их. Эти перья, ценные в то время, сильно опустошали карманы их любителей. Покупка и мена их широко практиковалась в нашей школе, но особенной любовью пользовалась игра, состоявшая в том, что расставленные в ряд на одном конце стола, а чаще подоконника, перья сшибались, так называемой “биткой” — пером установленного размера, залитым по своей середине воском. От удара щелчком по носу этой битки она приходила во вращательное движение и, вертясь, приближалась и сшибала известное количество перьев, каковые и забирались игроком. Некоторые товарищи были выдающимися ловкачами и имели какие-то особо пригодные, удачно выбранные ими, битки. Нередко приходилось присутствовать при полном разорении побежденного; нередко, битки продавались за 50 коп. и даже за рубль. Хотя эта игра и вызывала шумные споры, а иногда и драки, но надзиратели разрешали ее и сами следили за успехами артистов...

Меры разумной строгости в пансионе, имевшем самый разношерстный состав воспитанников, из которых многие уже ранее были исключены из одного, двух учебных заведений, были,



понятно, необходимы, но те, которые в большинстве случаев применялись к нам, не могли развить в нас чувства порядочности и сознания долга по отношению к нашим начальникам, наставникам и воспитателям. Относиться к ним с уважением мы не могли, они не заслуживали его ни своим авторитетом, ни теми грубыми приемами, которые практиковали, не разбираясь окончательно, с кем они имеют дело.

Безобразное обращение с нами людей, поставленных во главе дела, их влияние на состав всей педагогической коллегии, их неумение или нежелание подобрать необходимых для пользы учреждения дельных, толковых и гуманных помощников и, в полном смысле слова, бестолковое, лишенное разумного плана обучение — что, кроме вреда, могло принести все это нам, отданным в их грубые, жестокие и малоблагородные руки?..

Весной 1872 года я был переведен в четвертый класс, но несмотря на это, мы с братом были взяты из пансиона г-на Керкова. Брат Роман поступил в 4-ый класс Академии Коммерческих Наук, где продолжал учиться весьма успешно. Меня решено было отдать приходящим в учебное заведение более высокого сорта. Мне уже не надо было вставать чуть свет в понедельник и совершать громадную прогулку с Тверской к Мясницкой части. Разоспишься утром после весело проведенного с братьями праздничного дня и не охота вставать. При свете большой тусклой керосиновой лампы, висевшей на потолке, наскоро оденешься и бежишь в столовую попить чайку. Часто и особенно почему-то по понедельникам, в эти ранние часы слышали мы мерный барабанный бой, приближавшийся все ближе и ближе с горы нашей Тверской. Кинешься к окну и с невольным трепетом смотришь на мрачную процессию. На грубо сколоченной и тряской телеге — эшафоте, спиной к столбу, сидит с черной доской на груди серая фигура каторжника с поникшей головой и землисто-серым лицом. Повозка запряжена парой тощих кляч и медленно движется с барабанщиком, шагающим во главе и окружающими ее конвойными с ружьями с их поблескивающими штыками. Нередко на повозке сидело двое и мерно покачивались они со скованными тяжелыми кандалами руками и ногами. Иногда сзади в простом возке везли арестанток. Так в былое время возили



осужденных для чтения им приговора, кажется, на Конной площади в Замоскворечье. Мрачно было впечатление от этой тяжелой картины в серых тонах.

Весело, особенно весной, бежишь, бывало, в субботу домой и сколько бумажных кораблей пустишь по стремительным потокам уличных весенних вод. По дороге всыпешь какому-нибудь зазевавшемуся мальчишке, получишь сдачи и опять бежишь себе, поспевая домой. Не могу забыть погони за мной какого-то татарина, которого я вздумал оплясать, дразня его общеизвестной фразой: “татарин, свиное ухо съел”. Обычно это обходилось благополучно, но на этот раз на мою долю попался очень щекотливый, он бросил свой тяжелый узел и гнался за мной чуть не целый переулочек. Спасибо, молодые ноги выручили!

В зимнее время, в особенности, когда улицы и подоконники покроются свежей, блестящей порошей, почти всегда по дороге найдется любитель перекинуться снежками. Насыпать вдоволь за ворот, а другой раз придешь домой с основательной шишкой, которую с большой охотой набьют большие ловкачи, уличные мальчишки. Чуть дыша, бывало, стоишь на запятках уцепившись за ковровую спинку саней какого-нибудь ваньки, влекущего мягкотелую салопницу в Охотный ряд, и едешь по пути, зорко посматривая, не стеганул бы ненароком мороженым кнутом какой-нибудь встречный легковой. Зимой дышалось легко, тяжело было ходить глубокой осенью — тут и забавы не лезли в голову, да и народ-то попадался какой-то мрачно настроенный. Допекали дожди, зонтов мы не знали, и на извозчиков нам денег не давалось. Взмокнешь бывало, хоть выжимай!

Летом 1872 года я усиленно занимался — мне предстояло держать несколько проверочных экзаменов в частную гимназию Креймана, куда в 3-ий класс я должен был поступить приходящим. Вместе со мною туда поступили и мои братья: Леонид в 1-ый класс и Максимилиан в подготовительный. Славившаяся в Москве гимназия Франца Ивановича Креймана десятки лет помещалась в большом старинном доме Самариных на Петровке, против Петровского монастыря.

С наибольшим неудовольствием вспоминаю я учебный сезон 1872/1873 гг., проведенный мною в стенах этой отвратительной



немецкой гимназии. По счастью, в начале апреля 1873 г. я был исключен из числа воспитанников этого учреждения. Об этом я скажу ниже.

Немало воспитанников гимназии Ф.Ив. Креймана и до сих пор с благодарностью вспоминают и своего директора, и его заботы об их образовании, и считают, что окончили среднее учебное заведение высокого класса. Я знаю людей высокопочтенных, которые учились в этой гимназии и, окончив затем высшее учебное заведение, сделались впоследствии небезызвестными, видными общественными деятелями, но, смею думать, что их немного. Шевелится во мне какая-то уверенность, что общий уровень их гимназических познаний не должен был бы считаться, по крайней мере в большинстве случаев, достаточным. Хитрый гешефтмахер — директор — переводил большинство своих учеников из класса в класс, не считаясь с их действительными познаниями и стремясь не терять хорошие заработки, которые он ежегодно собирал с очень хорошо оплачиваемых воспитанников. Подтверждения этих моих слов мне не раз приходилось слышать от тех лиц, которым близко пришлось познакомиться с жизнью этого почтенного учреждения.

Не скажу, чтобы я плохо учился в этот год, но те знания, которые я приобрел от моих преподавателей, оказались совершенно неудовлетворительными для третьего же класса гимназии, куда меня судьба занесла на следующий учебный сезон. Недаром начальства казенных гимназий не признают свидетельств подобных частных гимназий, а равно и лица цесаревича Николая, и обычно при переходе воспитанников требуют экзаменов по всем предметам, не обращая никакого внимания на уравнивающие их права и даже распоряжения министерства народного просвещения.

Все порядки частной гимназии немца Креймана были типично немецкими. Всеми делами заведовал, собственно говоря, препротивный грузный немец, инспектор Линде, которому помогал старший надзиратель, немолодой уже и в то время, Herr Brucker. Надо отдать им должное, они с чисто немецкой аккуратностью поддерживали чистоту в своих громадных классах, строго взыскивая за всякую неряшливость со своих, в общем, очень чистеньких и богатеньких воспитанников. Они превосходно разработали систему



выведываний, в чем им успешно помогали их благовоспитанные любимчики “фискалы”. Почтенные отцы инквизиторы постоянно пугали своих жертв одним именем Франца Ивановича, делая вид, что сами трепещут перед ним и вечно должны оберегать его покой. Совершив какой-нибудь проступок, следовало, надев маску раскаяния, тотчас же прибегать к испытанному средству — умащивания господина инспектора с неперменным обещанием исполнять все до неблагоприятного включительно. Строго взыскивалось за разговор на русском языке в, так называемые, немецкие дни. Во французские же никто не обращал никакого внимания на коротенького, толстого и широколобого француза, надзирателя мсье Castillon, который всей своей фигурой олицетворял совершенно не свойственную его нации лень, мешковатость и полный индифферентизм к тем, наблюдению за которыми он был приставлен. Но как он, так и г. Брюкер, нередко рукоприкладствовали, употребляя для сего довольно подленькие приемы. Преподаватели, в общем, весьма халатно относились к своим обязанностям, и часто в класс, заменяя отсутствовавшего учителя, входил со своей прилизанной накладкой белокурых волос на лысине белоглазый и пучеглазый, рослый и сытый Herr Linde и то бледнея, то краснея, видимо, от недовольства давал нам лишний урок немецкого языка...

Профессор Университета, заслуженный протоиерей о. Сергиевский на уроках закона Божьего произносил витиеватые проповеди (вся помнят его “на колесах премудрости на небо правосудия”!) и давал пространные толкования к катехизису. Он почти никогда не спрашивал учеников, которые, конечно, никогда не готовили уроков. Службы и занятия в Университете нередко не давали возможности почтенному протоиерею бывать на уроках в гимназии. Университетский храм Св.Татьяны, благолепие его, поразительная чистота и комфорт и какая-то особенная торжественность о. настоятеля, его, полное драматизма, чтение, возгласы и витиеватые проповеди находили постоянно и издавна свой особый сорт богомольцев, большею частью из высокопоставленных лиц. Во избежание соблазна направо стояли в храме кавалеры, налево — дамы. Наша семья нередко бывала, чуть не *in toto*, в университетской церкви, слушая в Великий



четверг Двенадцать Евангелий и выстаивая мефимоны и стояния Марии Египетской.

Весьма часто опаздывая на 1/4 часа и более на урок, являлся, пользовавшийся большой известностью в Москве, но абсолютно бездарный преподаватель русского языка Петр Андреевич Виноградов, по прозвищу Педрилло Изюмов. Впоследствии я ближе познакомился с этим высоким лимфатиком с толстыми губами и вечной кашкой во рту. Как у Креймана, так и в 3-ей гимназии, он считался в числе самых первых учителей, но польза от его преподавания была более чем сомнительна. В дальнейшем мне придется поговорить о нем подробнее.

Латинскому языку нас обучал сухенький пастор Берг. Не понимая ни слова по-русски, он, естественно, пробовал объяснять нам свою премудрость на своем родном, немецком языке, был более чем снисходителен и ставил четверки широкой рукой. Легко заучивались на память его германо-латинские стихи, он декламировал их с каким-то особым упоением. Более развязные и нахальные ученики часто пользовались его незнанием русского языка и, отжаривая в рифму как исключения 3-го склонения, так и предлоги, требующие повелительно тех или других падежей, добавляли к глупым стихам различные присказки — отсебятины, на манер особенно эффектный:

a, absque ab
coram, clam
cum ex und in
ты подлец и сукин сын!

Под смешки попривыкших к этим выходкам товарищей они садились на место, получив заслуженную четверку.

Начатки греческого языка преподавал нам также почти не понимавший русского языка Herr Dawids, брат вышеупомянутой госпожи Керков. Высокий, лохматый, краснолицый и угреватый “леший”, как его называли, как преподаватель не имел ни познаний, ни способностей, ни педагогического такта. Зачем он являлся в класс, мы не знали и уроков ему не готовили...



Немного уроков по истории дал нам за год знаменитый преподаватель Петр Павлович Мельгунов*, любивший свой предмет до увлечения и дивно рассказывавший в классе. В этом году он долго болел и часто, вместо его крайне интересных уроков, мы переводили с русского на немецкий нелепые рассказы из дрянной хрестоматии какого-то глубокомысленного русского немца...

За особую приплату нам разрешалось вечером готовить уроки в гимназии и требовать помощи от восседавших в классе инспектора или кого-либо из его помощников. Я в то время по-прежнему любил рисование и отдавал ему немало времени, сделавшись специалистом по рисованию карикатур. Они-то и извлекли меня из душных немецких тисков опротивевшего мне учебного заведения.

Как-то раз в начале апреля, в часы вечернего приготовления уроков совершенно неожиданно кинулся ко мне Негг Линде и, запустив руку в парту, вытащил оттуда толстую пачку карикатур, набросанных мною на отдельных листках, положительно, на весь персонал Креймановской гимназии от самого директора до ватерклозетного дядьки включительно. Пересмотрев их наскоро и засунув их в карман своего просторного сюртука он, меняясь в лице и вылупив свои оловянные глаза, проорал несколько раз диким, остервенелым голосом: “а ви Шиваго, нэ люди, ви просто шерти!” (причем тут были мои неповинные братья?) и приказал мне тотчас же идти домой.

Вызванному на другой же день родителю Франц Иванович показывал коллекцию карикатур и просил согласиться, что после этого ему невозможно считать в числе учеников своей перво-классной гимназии такого одаренного воспитанника. Отец с ним согласился, но, к удивлению директора, счел необходимым изъять из недр училища и братьев карикатуриста, тем более, что ему не нравились наши поздние возвращения домой после приготовления уроков и частых боев с мальчишками, подкарауливавшими нас

* П.П. Мельгунов долго преподавал историю в Академии Практ. Наук. Его очень ценил покойный дядя, Иван Михайлович, весьма часто посещая его уроки и записывая его блестящие исторические импровизации. В моей библиотеке хранится книжечка М-ва “Первые уроки истории”. — *Прим. А.В. Живаго.*



на проходном дворе упраздненного монастыря Св. Георгия на Большой Дмитровке. Сильно обеспокоил родителей маленький братишка Макс, явившийся однажды домой в крови, с рассеченным камнем лбом.

Подвергшись порке, я радовался своему освобождению из-под опеки г-на Линде и К°, но до сих пор сожалею об экспроприации моей коллекции карикатур и дорого бы дал, чтобы пересмотреть те изображения весьма дорогих для меня личностей.

На этот раз родители решили отдать меня в казенную классическую гимназию, избрав 3-ю, как наиболее близкую к нашей квартире. Брат Леонид поступил в 1-ый класс Академии Коммерческих наук, а маленького Макса подготовили в 1-ый класс только что тогда открывшейся 1-ой Прогимназии. Очень трудно последовательно изложить все то, что пришлось переиспытать мне за те 8 лет, которые я провел в казенной гимназии. Вследствие этого мне придется ограничить рамки своего изложения, возможно, краткой характеристикой общей постановки учебно-воспитательного дела в гимназии уже отдаленного времени и зарисовать портреты тех моих начальников, наставников и воспитателей, трудам которых я обязан завершением моего образования в казенном среднеучебном заведении.

Из того, что приходилось мне нередко слышать о том, как ведется дело обучения и воспитания в казенных гимназиях ныне и из тех сопоставлений, которые невольно при этом напрашиваются и касаются теперь уже далекого прошлого, вывод для меня возможен только один, а именно: теперь весьма значительно облегчены требования по тем предметам, которые стояли в то старое время в числе наиболее важных и изучение которых почти непосильной тяжестью ложилось на нас. Школа теперь стоит ближе к семьям учащихся и приемы воздействия на питомцев смягчены и облагорожены, а в некоторых учебных заведениях почти с полным правом могут быть названы гуманными. Мне трудно судить о той действительной пользе, которую приносит ныне та измененная программа предметов, преподаваемых в среднеучебных школах и те совершенно новые правила, которыми руководятся теперь г.г. наставники и педагоги; мне неизвестно также и то, возможно ли ныне



предъявлять к окончившим гимназии повышенные требования сравнительно с нами, воспитанниками семидесятых годов, грамотные ли они и лучше ли подготовлены к восприятию высших наук и, наконец, каково общее влияние теперешних учебных заведений интересующего нас типа на современную молодежь? На все эти вопросы пусть постараются ответить те, которые пожелали бы ими заняться с должной подготовкой и материалами в руках.

Я был бы вполне удовлетворен, если бы мне удалось, набросав на память эти строки, сделать такой краткий очерк старого нашего гимназического быта, который, хотя бы отчасти, мог послужить материалом для воспроизведения большой сложной картины под руками действительно талантливого критика. В изложении мне хотелось бы быть, елико возможно, беспристрастным, оценивая мои детские и юношеские воспоминания того отдаленного прошлого. Я не менял гимназий, окончив курс в той, в которую поступил, и мне, конечно, детально не знакома жизнь других казенных средне-учебных заведений этого типа, как например, развязному Власу Дорошевичу, ухитрившемуся, согласно его заявлению, перебивать во всех гимназиях, функционировавших около этого времени, кроме первой. Но верить ли неоспоримо талантливому борзописцу, зная, как трудно было в то время исключенному из одной гимназии попасть в число учеников другой? Тяжела была практиковавшаяся в те времена, система “волчьих паспортов”, почти безусловно лишавшая прав продолжать образование тех несчастных, которые имели печальный случай близко ознакомиться с нею.

Московская 3-я классическая гимназия помещается до сих пор на Большой Лубянке в довольно большом доме, на месте которого 300 лет назад стояли хоромы князя Пожарского. По переднему фасаду дома расположен небольшой, плохо содержимый сад, оградой отделенный от улицы. Довольно большой двор отделяет главное здание от его и тогда уже ветхих, запущенных двухэтажных флигелей, тянущихся по Фуркасовскому переулку и Малой Лубянке. Гимназия — без пансиона и в шестидесятых годах была казенным реальным училищем. Помещение в общем не велико. В нижнем этаже главного корпуса в мое время были расположены



классные комнаты для 4-х низших классов, в верхнем для 4-х высших и актальный зал, в обычное время служивший учительской. В одной из небольших комнат нижнего этажа были сложены в шкафах и на них предметы и пособия, оставшиеся от того времени, когда гимназия была реальной, здесь же находились и географические карты, в изобилии торчавшие скатанными в углах. Это помещение служило и карцером для серьезно провинившихся. Этажи были соединены широкой чугунной лестницей, начинавшейся в “шинельной” подвального этажа. В парадное крыльцо имели приезд только учителя и родители, вызывавшиеся для тех или других объяснений с инспекцией. Ученики же, пройдя по тротуару дворового фасада, входили задним крыльцом в “шинельную”. Ряд низеньких комнат под тяжелыми сводами передней половины здания с небольшими квадратными окнами и скамьями по стенам служил местом прогулки учеников в большую “перемену”, когда они завтракали, покупая сомнительные продукты у пирожника и колбасника, торговавших за своим прилавком под окнами последней самой маленькой комнаты.

Уроки начинались ровно в 9 часов утра и к этому времени ученики должны были собираться в класс, где перед началом первого урока они в очередь читали молитву. Опоздававшие к первому уроку подвергались наказанию. В так называемом “бальнике” учителя делали запись об опоздании, а надзиратели, с инспектором во главе, улавливали опоздавших, обыкновенно, еще в коридоре и также помечали. В “бальнике” на особо приложенном к нему листе учителями заносились фамилии провинившихся учеников с отметкою, что содеяно и какое количество часов за сие рекомендовано просидеть после уроков в так называемом запасном классе. На последнем уроке в каждый класс входил надзиратель и списывал фамилии провинившихся и получивших “кол” и окончив почтенную работу, громко и ясно провозглашал имена “остающихся сегодня”. За более серьезные проступки инспекция наказания увеличивала “ad libitum u quantum satis”*.

У инспектора Крылова была особая любовь оставлять учеников “на неопределенное число часов”. Позадержат сегодня часа два, три,

* Не стесняясь в выборе и без ограничений (лат.).



пригласят на завтра, а то и целую неделю отсиживаешь по два, иногда и по три часа в запасном классе, долбя наизусть или поэму Пушкина или Анабасис Ксенофонта. На другой день подойдешь к инспектору и попросишь его выслушать заданное. Смилостивится — дозволит, но слушает, обычно, недолго, после четырех, пяти строк уже ревет “пшел в класс”. Но этим пользоваться боялись и долбили основательно все, что указано.

О наказании домой давались так называемые “сведения”; эти бумажонки всем проштрафившимся писал дежурный надзиратель и на другой день отбирал их с обязательной родительской подписью. Надо сознаться, тяжело было подавать эти сведения для подписи отцу или матери. Выбираешь минуту и чаще всего, бывало, пользуешься моментом, когда им некогда, когда спешат уехать. Долго, другой раз, прицеливаешься, пока сделаешь выбор, кто из родителей настроен благодушнее. Дома не преминут усугубить наказание, угостят, например, чуланом, куда запирали нас на час и более. Узенькая и довольно длинная щель в простенке двери, служившая для хранения старых картонок, газет и всякого другогохлама, душная, затхлая и пыльная, неприветливо встречала она наказанного малыша. Я скоро привык к чулану и, сидя на полу, не раз засыпал, не боясь и не обращая внимания на крыс и мышей, с одушевлением работавших в нем где-то на заднем плане. Чулана боялся впечатлительный и легко возбудимый брат Роман, вымаливая себе прощение и соглашаясь на все другие муки, лишь бы не попасть в его недра.

В гимназии от 9 до 12 ч. нам давались 3 урока. От двенадцати до часу гимназисты проводили время в подвальном этаже, где ели, а поев, дрались, но с опаской и носились по четырем не крупным и низеньким комнатам под массивными сводами. От часу до трех мы присутствовали на последних двух уроках. Два раза в неделю два — три соединенные класса делали гимнастику под руководством Пуаре, а затем и сына его, Виктора. Два раза в неделю рисовали (уроки рисования до четвертого класса включительно были обязательными). В старших классах рисовали только те, которые хотели, за ничтожную приплату, рублей 5 в год.

Шумной толпой сбегали малыши и взрослые по окончании уроков в “шинельную”, где быстро одевались и группами расходились



по домам, соблюдая на улицах порядок, отнюдь не позволяя себе каких-либо шалостей. Замеченные в чем-либо подвергались весьма строгой ответственности. Курение, несоблюдение установленной формы, драки и невнимательное отношение ко встреченному начальству карались с особой строгостью. Нередки были случаи, когда совершенно посторонние лица, оказывавшиеся впоследствии принадлежащими к составу чиновников Министерства Народного Просвещения, записав фамилию ученика, требовали от него объявить о проступке инспектору. На венчике кэпи помещалась предательская цифра, указывавшая на принадлежность ученика к составу той или другой гимназии. Отбояриваться от непрошенных цензоров наших нравов на улицах мы скоро научились — металлический хвостик у цифры 3 отворачивался назад и цифра сходила за 5, а фамилия измышлялась легко и свободно. Что делать? *Sauve qui peut!** Долго, долго, должно быть, искал меня один, придравшийся ко мне на империале конки, старый гусь в фуражке с красным околышем. Он тщательно записал мою фантастическую фамилию в свою записную книжечку.

Весьма высокие требования, предъявлявшиеся к нам преподавательским персоналом, а главным образом непомерные строгости инспекции, широкой рукой налажавшей на нас самые суровые наказания за сравнительно ничтожные проступки, были особенно характерны для жизни гимназий эпохи 70-х годов. В конце 80-х годов, во время бесед с одним весьма почтенным и высокогуманным педагогом, уже бывшим в то время директором одной из московских гимназий, мне удалось выяснить причину этих резко повышенных требований и донельзя суровых мер, практиковавшихся в эпоху моего пребывания в гимназии. Узнав, что я поступил в гимназию в 1873 году, он тотчас же заявил мне буквально так: “а вы, мой молодой друг, не слыхали разве о той телеграмме попечителям учебных округов, которая была разослана им в 1872 году в крайне лаконичной форме министром нар. просвещения гр. Толстым? Приказ был действительно немногословен, он заключал в себе только три слова “подтянуть, граф Толстой”. Ну, и понятно, вас подтягивали тем более, что

* Спасайся, кто может! (фр.).



в заботы тогдашнего министерства, как еще и теперешнего, — добавил он мне, — вовсе не входит стремление раскрывать двери университетов для слишком многих, это далеко не соответствует желаниям министерства по многим соображениям высшего порядка”. И действительно, из пятидесяти учеников, принятых, например, в первый класс, обычно кончало курс человек 25, а то и менее. Состав воспитанников 5-го класса, начиная с 1878 года, пополнялся ежегодно теми, что кончали курс четырехклассной 1-ой прогимназии.

Приведенный в начале августа 1873 года в гимназию моим учителем, студентом А.В. Аркадакским, усиленно подготовлявшим меня к экзаменам в 3-ий класс, я был объят трепетом, впервые увидев инспектора Ростислава Ивановича Крылова. Поднявшись по лестнице в первый этаж главного здания, мы были встречены добродушным старичком, надзирателем младших классов, Алексеем Александровичем Казначеевым, который нас и направил к инспектору.

Крылову в то время было не более пятидесяти пяти лет. Его суровое, багрово-красное, бритое лицо с двойным подбородком и с налитыми кровью глазами, прикрытыми крупными очками, его широкие плечи и громадный живот*, синий просторный вицмундир и широкие белые брюки** с полным правом давали возможность сопричислить его к лику тех лицедеев, которых я уже имел случай видеть на сцене. Ему не надо было бы гримироваться, да и костюм его подходил к роли экзекутора Яичницы из комедии “Женитьба” Н.В. Гоголя. “Ступай во второй класс, — проревел он, — там тебя отэкзаменуют”. Экзаменовали меня какие-то молодые люди и довольно снисходительно, по всем предметам мне были поставлены удовлетворительные отметки. Остался экзамен по Закону Божию. Долго ждали батюшку. Когда дошла очередь и до меня, старый священник, оказавшийся о. Дмитрием Ивановичем Языковым***, спросив мою фамилию, велел мне прочесть

* Крылова, за его громадный живот, величали “чемоданом”. — *Прим. А.В. Живаго.*

** Он их носил в весенние и осенние месяцы. — *Прим. А.В. Живаго.*

*** Настоятель ц. Св. Ильи Пророка, что на Воронцовом Поле, был духовником и отлично знал свою прихожанку, мою тетку Марфу Род. Дунаеву, знал хорошо и мою мать. — *Прим. А.В. Живаго.*



несколько молитв, а затем стал задавать мне вопросы по истории Ветхого Завета. Далеко неласково и с ужимками он исправлял мои ошибки. Я помню обуявшее меня волнение, вследствие которого, должно быть, на вопрос о том, где родился Иисус Христос, я ответил: “в Назарете”. “Пошел вон, — закричал резким голосом законоучитель, — ты не про Бову Королевича пришел сюда рассказывать”. Выбежал я из класса и, горько заплавав, поведал горе своему учителю. Заволновался мой Алексей Васильевич и, не знаю как, но устроил так, что мне назначена была переэкзаменовка через неделю, перед самым началом учения. У какого-то молодого батюшки я выдержал ее и был зачислен в ученики 3-его класса.

Помню хорошо, как забавляло меня форменное платье, сшитое мне портным Неменским, как щеголял я в нем в воскресенье в церкви, в часовне Иверской Божьей Матери и на прогулке по улицам. Молодые в то время приказчики нашего магазина* отпустили мне кэпи и ранец, покрытый тюленьей шкуркой и долго отвратительно вонявший тухлым клеем. Помню, как служащие в магазине, потешаясь, обращались ко мне с особым почтением.

Началось мое учение в казенной гимназии, куда с самого начала следовало отдать меня моим родителям для успешного и систематического обучения. Не под силу мне проследить шаг за шагом все то, что переживал я в гимназии целый ряд лет, но не лишним считаю порассказать о некоторых событиях и, насколько возможно, точно сделать характеристики тех моих начальников, учителей и воспитателей, с которыми судьба свела меня за этот период времени.

Директором нашей гимназии был Вячеслав Ильич Малиновский. Укрошавший во время польского восстания в западном крае молодежь, один из самых заслуженных директоров московских гимназий (а их тогда было шесть), уже несколько лет ожидавший повышения, Вячеслав Ильич был суровым формалистом и педантом. Это был человек очень маленького роста, с большой головой и землисто-серым лицом, которое чаще всего он держал склоненным набок. Лысину свою он прикрывал хорошо припомаженными,

* Александр Карпович и Дмитрий Афанасьевич. — Прим. А.В. Живаго.



а, может быть, даже приклеенными волосами, которые он отращивал и заимствовал со своего левого виска. Отличительной особенностью его была привычка подолгу, молча смотреть исподлобья в лицо провинившегося или подозреваемого ученика. Нельзя предположить, чтобы он при этом не замечал как меняла свои цвета физиономия ученика под этим гипнозом его тусклых, бесцветных глаз. Другой особенностью его позволительно считать то, что он никогда не носил вицмундирного фрака, как то было установлено для всех чиновников министерства. Мы вечно видели его в недлинном двубортном темно-синем сюртучке, к которому он в особо торжественных случаях прицеплял свои две звезды. Он жил в бельэтаже главного флигеля, со своей некрасивой и очень высокой женой, полькой по происхождению. Она нередко выходила на прогулку в сопровождении двух ценных маленьких кинг-чарльзов.

Гимназисты очень боялись директорского гнева, вспышки которого были весьма бурны. По счастью дело редко доходило до разбора лично его Превосходительством. И без него умел управиться со всем его помощник, инспектор Ростислав Иванович.

Мое первое знакомство с директором было мало обычно. Встреченный им через несколько дней по поступлении в коридоре, я был остановлен им вопросом: “как фамилия?” Я ответил. “А, вот как? А, как тебе приходится тот Живаго — сочинитель?”, — вдруг спрашивает он. Не понимая, о ком идет речь, я сказал, что не знаю, после чего услышал краткое: “иди”. Придя домой, я передал об этом родителям и отец с беспокойством стал разьяснять матери, что сочинение дяди Александра Ивановича, то, за которое его выгнали из той же 3-ей гимназии, еще, стало быть, на памяти у директора. Много ближе мне довелось познакомиться с директором только в шестом классе, когда он, к нашему ужасу, пожелал сам преподавать нам латинский язык. Но этого мне придется коснуться и довольно обстоятельно в дальнейшем. Перейду к характеристике учителей, начав с тех, с которыми познакомился при поступлении в третий класс.

Подавляющее впечатление произвел на меня первый мой урок латинского языка. В класс вошел сухой, несколько сутулившийся,



немолодой и суровый на вид чех Юрий Юрьевич Ходобай. Он считался в Москве самым заслуженным и видным преподавателем латинского языка. Его весьма подробный учебник грамматики с убийственным количеством примечаний, напечатанных четырьмя шрифтами (согласно их важности), был принят в то время в нашем округе, кажется, во всех гимназиях. Его он обработал с премудрым Петром Виноградовым и чуть не каждый год переиздавал.

Войдя в класс и раскрыв классный журнал, он стал пересматривать фамилии учеников, повторяя “новычок”, “новычок”. “Ну вот, новычок Живаго, ты знаешь исключенья третьего склонения? Скажи мне”. Я не только их знал, но знал многие из них в эффектных стихах. Набравшись храбрости, я бойко отвечал и наконец дошел и до знакомых мне виршей. Прочтя одни и, не заметив, что преподавателя они карежили, я громко и отчетливо произнес и другие:

“Iter, tuber, ver, cadaver
Cicer, piper und papaver,
Linter aber merke man
Sich allein, als Comune an!”

Тогда вдруг произошло то, чего я никак не мог ожидать. Ходобай диким голосом закричал, набирая залпами свои ругательства: “бульван, идийот, солени огурэц, бревнушко в мундыре, встань на скамейку, глупий идийот!”. Я стоял растерянный и подавленный. Он повторил приказание встать на скамейку и когда я встал, то он, мечась по классу, завопил захлебываясь: “и тот — идийот и бульван, кто тебя училь — linter никогда не було commune, папагэй!”. Несмотря на то, что это был первый урок, так сказать, урок ознакомления с учениками, я получил жирный “кол”. Потом я к ним за год успел привыкнуть, но этот, первый, не только тяжело оскорбил и удручил меня, но еще и повлиял на все дальнейшее ко мне отношение моего сурового преподавателя. Из двоек я никак не мог у него выйти, хотя долбил с испуга задаваемые им уроки на совесть. Проклятые “идийоты” — немцы, с их подлыми стихами, они возбудили в суровом чехе его старые антипатии и ошеломили меня! На второй год я остался по милости, вернее, по немилости Ходобая, хотя и по другим предметам, кроме истории и географии, успевал я неважно. Плохо был я обучен и подготовлен немцами...



Весьма многим я обязан своему преподавателю истории, Николаю Ивановичу Карееву. Он пристрастил меня к занятиям и заставил меня полюбить изучение истории. Талантливый преподаватель, а таким я знал его в течении 6 лет, связанный в деле преподавания жалкими, но рекомендованными министерством учебниками “знаменитого” нашего историка Дмитрия Михайловича Иловайского, нажившего себе громадное состояние своей исторической макулатурой, Николай Иванович много времени на уроках истории отдавал нам как в младших, так и в особенности, в старших классах, на освещение исторических вопросов, суммируя и обобщая исторические материалы, иллюстрируя свои рассказы и пояснения довольно художественными набросками на классной доске и постоянно рекомендуя нам для чтения те или другие в то время весьма скудные пособия из переводной исторической литературы. Читая, например, “зарождение культуры у древних народов”, он знакомил нас и с историей развития искусства.

Много рисунков, как зарисованных мною с его набросков за уроками, так и скопированных с таблиц, рекомендованных им книг, долго хранил я и впоследствии не без удовольствия часто пересматривал изображения пирамид, сфинксов, главнейших египетских богов, ассирийских крылатых быков и циклопических построек греков эпохи зарождения греческого искусства. Николай Иванович с особой любовью выделял из среды своих учеников тех, которые казались ему наиболее заинтересованными его уроками, с ними он подолгу беседовал как в гимназии, так и собирая их для интересных бесед в экскурсии, которые часто назначал для воспитанников старших классов в воскресенье.

Я не забуду весьма полезных для нас этих прогулок наших с молодым учителем по окрестностям Москвы и посещений исторических памятников и собраний города. За чайным столиком в ресторане Крынкина, на Воробьевых горах мы долго слушали оживленный рассказ Николая Ивановича о нашествии французов в 1812 году, на лесах достраивавшегося храма Христа Спасителя он указывал нам на достоинства фресковой живописи блестящих художников, заканчивавших в то время работы по росписи храма. Незаметно мы переходили от эпохи крещения Руси ко временам



княжения Александра Невского. Подолгу иногда он останавливался на освещении тех или других событий, напоминая нам многое и знакомя с различнейшими взглядами на многие важнейшие исторические события. В дальнейшем мне, может быть удастся не раз еще поговорить о Карееве, покинувшем нашу гимназию в 1879 г., когда он был назначен профессором Варшавского университета.

В лице Михаила Степановича Мостовского 3-я гимназия имела одного из самых лучших преподавателей географии. Очень красивый собой, внешне изящный, обладавший голосом весьма приятного тембра и прекрасной дикцией, М.С. рассказывал нам немало, рисуя картины из жизни народов, очерчивая яркими красками характер местности и богатство недр тех или других стран. Нередко он читал нам целые главы записок известнейших путешественников. В преподавании он был требователен, он желал от учеников основательных знаний и любил поднимать на смех лентяев и не любивших изучение географии учеников.

Мы чертили много карт различных материков и бассейнов рек. Считая меня всегда в числе своих лучших учеников, он часто весьма хвалил меня за исполнение чертежей, но безбожно портил их, расписываясь по длине их, говоря, что вынужден делать это из боязни, чтобы моя работа не была бы вновь представлена ему одним из моих товарищей. Делать нечего, приходилось собирать эти коллекции карт, стоивших мне немало труда, испорченными недоверчивым преподавателем. При повторении пройденного им производились несколько раз в год проверочные испытания для вывода четвертных отметок. В этих случаях М.С. вынимал свою увесистую записную книжку и, раскрыв ее на той или другой странице, предлагал вызванному ученику ответить на те десять вопросов, что на ней стояли в самом оригинальном беспорядке. За вопросом о притоках Волги или чем торгует тот или другой народ, следовал, например, вопрос о том, на каком берегу р. Москвы стоит Кремль и пр. Удовлетворительно ответившему на все десять вопросов ставилась пятерка, на пять — тройка. С грехом пополам ответившие на два вопроса нередко, кроме двойки получали еще те или другие наименования и выслушивали афоризмы и анекдоты



на подходящие темы, которых у Михаила Степановича был большой запас.

В чине действ. статского советника М.С. долго служил впоследствии заведывающим иностранным отделением в канцелярии генерал-губернатора. Заходя в наш магазин, я часто встречал его беседующим за стаканом чаю с отцом, большим любителем слушать его рассказы и анекдоты. Не черпали ли они их из одного источника, а именно, из Артистического Кружка, членами которого были оба?

Тяжело было на уроках Закона Божьего. О. Языков сурово относился к ученикам, заставляя их учить весьма помногу, требуя ответов самых обстоятельных и издеваясь над плохо приготовившими урок. Скрипучим голосом с резким носовым оттенком, он часто подробно уведомлял избранную им жертву, что записывает ее на лист провинившихся. В выражениях он не стеснялся. Так, однажды, когда молодой и дурашливый надзиратель, Кудрявцев, пробасил при нем на последнем уроке имена “остающихся сегодня”, о. протоиерей очень удивил его замечанием: “вот так голос, совсем как у попова петуха”. Он любил именовать учеников просто их именем, не прибавляя фамилии. Так, например, смотря на меня весьма пристально сквозь свои большие очки, он однажды, с видимым удовольствием, внося о моей провинности в журнал, долго тянул одно и то же: “г. Александр кушают на уроке Закона Божия, проголодались”. За сие просидел я тогда в запасном классе “неопределенное число часов”, но есть принесенное из дома на третьем уроке, чувствуя в это время всегда основательный голод, не прекращал. Уже будучи в шестом классе, я, однажды, развязно дожевывая, спорил с Виноградовым о том, что он ошибается и не так понял в данном случае игру моих лицевых мышц...

Оставленный на другой год в третьем классе и, не скрою, полевываясь, недурно учился я вновь в том же классе. Довольные моими успехами в этом году, родители почти каждую среду брали меня в ложу Большого Театра, где я с громадным интересом слушал блестящих итальянских певцов. Кроме того, сдружившись с одним из новых моих товарищей, горбатеньким Николаем Малышевым,



сыном экзекутора императорских театров, я еще раз или два в неделю ухитрялся попадать в итальянскую оперу и сидеть по контрамарке в первых рядах кресел, слушая “Пророка” со Станьо или Патти в “Любовном напитке” Доницетти.

В этом году пристрастился я к чтению. На старом, изрезанном перочинным ножом письменном столе, на котором я готовил уроки, лежали учебники, а выдвигавшийся ящик всегда содержал в себе развернутую книгу Жюль Верна, Майн Рида, Фенимора Купера или Густава Эмара и т.п. Позднее, тем же способом поглощались увесистые исторические романы Вальтера Скотта, Дюма с моими любимцами “Тремя мушкетерами”, “Тайны” различнейших дворов Европы, Рокамболь и кровавые романы Габорио и Ксавье де Монтелена. Как ни строго следило начальство за содержанием наших ранцев, как ни часто гг. надзиратели проявляли свои похвальные ревизорские способности, мы все же ухитрились безнаказанно, за редким исключением, проносить в гимназию и меняться интересовавшими нас книгами. Хорошие молодые ноги и вскоре появившиеся в Москве конки давали возможность без особых, легко подмечаемых старшими, запаздываний, сбежать или съездить подчас далеко за книгой к товарищу.

Как в этом классе, так и в четвертом, древние языки преподавал нам новый учитель, Яким Якимович Квичало. Далекое не старый, одутловатый и страдавший одышкой чех, не особенно хорошо знакомый с русским языком, по сравнению с Ходобаем был добряком, хотя и носил в себе все обычные для “братушек” недостатки. Мелочность, придирчивость к избранникам, стремление задавать как можно больше, бестолковость в объяснениях существенного (а существенным, вернее существенно важным в то время считалось чуть ли не все сплошь) и чрезвычайно строгая оценка письменных классных работ, так называемых экстемпоралий, которыми нас, прямо-таки, изводили — вот общие свойства всех первоклассных преподавателей — братушек. Эти люди не могли увлечь нас занятиями мертвыми языками.

Но никого из учеников гимназии не увлекали и новые языки. Не знаю, как теперь, но в мое время на новые языки (на немецкий и французский), казалось бы, заслуживавших внимания, смотрели как



на что-то почти не нужное. Ученикам предоставлялось право избрать себе тот или другой из них. Гг. учителей этих языков мало назвать плохими. Тех, что я знал в гимназии, я бы назвал жалкими. Их качество оправдывалось, должно быть, нежеланием Министерства народного просвещения знакомить основательно учеников казенных гимназий с новыми языками, “опасными” для питомцев. Правильнее считалось, должно быть, давить их, полезными до последней степени, мертвыми. Ну, и душили семью уроками латинского и шестью греческого в неделю.

Я избрал себе, к сожалению, более знакомый мне и казавшийся более легким, немецкий. Преподавал его до 6-го класса некий Николай Федорович Викман, по прозвищу “корова”. Толстоносый, длинноволосый и белоглазый немец, старавшийся хорошо и точно выговаривать русские слова, ленивый до последней степени, любил за уроками “шутки шутить”, ежеминутно глумясь над действительно ничего не знавшими и ничего не делавшими учениками. Его немецкое остроумие было пошло и нелепо настолько же, насколько пошла и нелепа была и та хрестоматия, по которой он пробовал нас учить. Сентиментальные, наивные до глупости коротенькие рассказы, уснащенные, будто бы, нужными, *ad hoc** написанными, совершенно дикими вопросами и оборотами, казались нашему учителю, должно быть, мудрыми, он смаковал их текст, переводя их нам иногда под неудержимый хохот класса. Тогда он выходил из себя, начинал браниться, обзывал учеников “коровами” и ослами и выгонял того или другого из класса, приказывая “встать в коридоре так, чтобы тебя г. инспектор не видал”. При этих обстоятельствах это была его любимая фраза. Нам было понятно все остроумие этого приказания, хотя и весьма часто издававшегося, а посему утерявшего всю свою соль. Дело в том, что в коридоре, громадном, светлом и совершенно пустом, было совершенно немыслимо найти такое место, где можно было бы укрыться так, чтобы не попасться на глаза постоянно шлявшегося по коридорам обеих этажей “чемодана”...

В четвертом классе учиться мне было много потруднее. Экзамены сдавались проверочные за все четыре класса, а “зады”

* Для данного случая (лат.).



благодаря немецким школам у меня были плоховаты и с большими недочетами. Подтягивался как мог и выдержал все переходные экзамены, “срезавшись” на последнем, устном по математике.

Как это вполне понятно, мне нет надобности оправдывать те или другие прегрешения моей юношеской жизни, да и не для того пишу я эти записки, но не могу я без чувства крайнего возмущения вспомнить о том, что произошло со мною в течение этого года (1875/76), что валилось на мою бедную голову и как, положительно, незаслуженно страдал я в этот год.

Два раза меня чуть не выгнали из гимназии и, наконец, оставили на второй год. Начну по порядку и, возможно, кратко изложу события. В октябре меня замучили фурункулы. Чирей за чирьем садились на разные места моего грешного тела. Назревал громадный на тыльной поверхности шеи. Налепил я на него вытяжного пластыря пласт чуть не в два вершка в квадрате, обернул шею тряпкой и, застегивая воротник мундира на крючок и испытывая адские мучения от постоянного раздражения стоячим жестким мундирным воротничком, старался не поворачивать головы и ходил в гимназию, чувствуя себя совсем разбитым. Не знаю, почему понадобилось приветствовать меня и именно, как хуже не надо, одному из товарищей, довольно симпатичному еврейчику Монасевичу. Со словами: “здравствуй, милейший!”, он схватил меня сзади за шею. Не взвидя света от боли и с фейерверком искр перед глазами, я наотмашь ударил его, и маленький еврейчик кубарем выкатился в коридор прямо под ноги надзирателю младших классов, доброму старику Казначееву. Узнав в чем дело, он изложил событие, как на грех проходившему по коридору, инспектору Крылову. Несмотря на то, что пострадавший мальчуган старался всячески извинить мой поступок, меня потребовали на расправу. — “Ага, ты разбойничаешь”, — заревел мне навстречу инспектор. С далеко не утихшей еще болью стал объяснять ему, говорил, что не владел собой и указывал на больную шею. Оказалось, что мой, может быть, и действительно несколько возбужденный тон показался Крылову прямо преступным. Побагровев, он завопил: “Завтра пришлешь отца и с бумагами, вон из гимназии, разбойникам здесь не место, кричишь на начальство”, и сейчас же приказал идти домой.



Проступок в освещении начальства оказался достаточно оцененным и дома. Не помню теперь, как удалось смилостивить инспекцию вызванному в гимназию отцу. Говорили, но наверно не знаю, что какой-то подарок инспектору помог отцу на этот раз. Через день я вновь стал посещать классы и, напуганный случившимся и помня, что за мной “последят”, утихомирился донельзя.

Но в начале декабря 1875 г. стряслось новое горе, пришлось опять тяжело пострадать. Я уже говорил, что сидение в запасном классе было для меня серьезным испытанием благодаря постоянным придиркам, чуть не провокации со стороны надзирателя Покровского. Не учась французскому языку, который в какой-то день недели приходился на последний урок, я обратился к преподавателю рисования, почтенному Александру Гавриловичу Заруцкому, любившему меня за мои способности, с просьбой разрешить мне рисовать в том классе, в котором он в этот день дает свой урок от 2-х до 3-х. Разрешение он дал охотно и уступил мне свой учительский стол в первом классе, где он преподавал в этот час. Я устроился отлично, придвинув стол к стене и, примостив громадный литографированный рисунок горного барана художницы Розы Бонёр, с удовольствием предался своему любимому занятию. Мальчуганов в классе было не менее 50-ти, я не обращал на них внимания, я был доволен, что мне не приходится теперь дожидаться целый час урока рисования.

Вдруг, на одном из этих уроков я ясно услышал свист, выведивший отчетливо два коленца какой-то песенки. Горячий, вспыльчивый донельзя Заруцкий рассердился и стал кричать, ища виновного. Инспектор оказался тут как тут. Узнав в чем дело и удивившись, что здесь он видит меня, он заявил, что разберет все сам и велел Заруцкому переписать учеников первой лавки, “камчатки”* и “его, конечно”, ткнул он в мою сторону. Затем, пригласив всех пожаловать по окончании урока в запасной класс, он вынес свое чрево в коридор. Мне шел тогда 16-й год, и дико как-то почувствовал я себя в запасном классе с ревущими

* “Камчаткой” называлась та добавочная скамья, на которой спиной к окнам сидели малоупевающие из числа учеников. К ним иногда добавляли одного или двух близоруких. Им дуло в спину, но это не заботило наше начальство. — *Прим. А.В. Живаго.*



малышами. Вскоре к нам объявился Ростислав Иванович и, подойдя к крайнему мальчугану, мягко, насколько мог, спросил его, не свистел ли он. Тот, утирая заплаканные глаза кулачком, сказал, что не знает кто. Кажется, третий из допрашиваемых показал на меня, говоря, что это я свистел, а один из следующих назвал меня по фамилии и тогда все остальные стали утверждать, что виновен я. Отпустив всех ребят домой, Крылов оперся руками на свои жирные бока и, покачиваясь, улыбаясь и хрипя, спросил: “ну, и ты не свистел?”. Когда я ему ответил, что не свистел, он заржал и захлебываясь и трясясь всем телом заявил мне так: “Ты, большой болван, уроки даешь мальчишкам, теперь посмотрим, что с тобою будет”.

А было вот что. Отсидел я в этот день в гимназии часа четыре в одиночестве и возбужденный донельзя, помню хорошо, не мог учить заданную мне инспектором “Полтаву” Пушкина (у меня затем был большой запас времени, чтобы выучить всю поэму). Домой принес я “сведение”, где к обстоятельному изложению содеянного было добавлено, что “онный проступок послужит предметом обсуждения экстренного педагогического совета, а о решении его уведомят”. Родители пришли в ужас и утверждениям, что я не виноват, веры дано не было. Решено было ждать постановления педагогического совета и не ехать просить о снисхождении у начальства, говорилось много обидных слов, упоминалось почему-то сапожное заведение и было постановлено, что лишенный всех удовольствий, я буду есть отныне простой грубый, людской стол в своей комнате или в людской, что видеть меня и говорить со мной родители не желают.

Вскоре мне удалось узнать, что весь учительский персонал легко соглашался с директором и инспектором, решившими изгнать меня из гимназии “с волчьим паспортом”, но что, надеясь на мое исправление, меня с трудом отстояли учителя Кареев и Мостовский. Они, относясь ко мне с большим расположением, будто бы, выражали даже сомнение в моей виновности. Балл по поведению мне был сбавлен до трех с минусом, мне было объявлено, что я должен буду отсиживать ежедневно “неопределенное число часов” в запасном классе, что за мною “по-



следят”, что я “на волоске” и проч. В таком же духе было составлено уведомление моим родителям, где кроме того говорилось, что мне на этот раз сделано начальством гимназии особое, исключительное снисхождение.

Очень тяжело мне было около 40 дней в этом учебном сезоне. Расстроилась моя нервная система донельзя, я плохо спал, в неделю будировал — не ел людские щи да кашу, что мне подавали в мою комнату, не видясь с отцом, слышал его отзывы обо мне, итальянцы пели божественно хорошо, но не для меня. Отсиживая то два, а то и четыре часа в запасном классе, уча уроки и долбя штрафные задачи, я сильно уставал и одно время стал уже склонен думать, что, может быть, действительно свистел, но, увлекшись рисованием, не заметил...

Отсидел я в запасном классе часов 45, если не более, и, наконец был амнистирован, по прежнему считаясь на подозрении. Как-то даже состоялось мое первое свидание с отцом, и я был допущен к общему столу, хотя со мною по прежнему не разговаривали. Кажется, в половине января, точно не помню, прогуливаясь однажды с колбасой в пеклеваннике по подвалу, был я отозван надзирателем Казначеевым к окну, где он мне таинственно сообщил, что свистевший обнаружен. Я ушам своим не поверил и, помню твердо, что, узнав, что это первый ученик первого класса, Страхов*, я спросил, что же будет ему за это? — “Пустяки, — сказал мне Казначеев и добавил, — ты о себе подумай”. Сгоряча я даже думать не мог и ни слова не сказал товарищам. У поворота лестницы во второй этаж при возвращении учеников из подвала в классы всегда стоял инспектор и тыча в нужных ему для расправы учеников своим, сильно отогнутым назад, большим пальцем правой руки, останавливал их и располагал “иных одесную, иных же о шуйю”. Увидав меня в этот раз, он гадко ухмыльнулся и указал место и мне. Отчитав задержанных и назначив каждому должную мзду, он повернул ко мне свой живот и, скорчив на лице новую

* Я впоследствии узнал, что этот Страхов, бойкий и талантливый мальчик, был сыном фотографа (у памятника Пушкину). Мальчуганы привели своего 1-го ученика к Казначееву и сказали, что если он, Страхов, не сознается, то они расскажут сами. Он повинился в том, что свистел тогда в классе и оговорил “большого”. Добавить ли, что Страхов сделался впоследствии одним из виднейших в Москве офтальмологов? — *Прим. А.В. Живаго.*



улыбку, прохрипел — “слышал, небось, что ж нам с тобой делать? Мы тебе зачем сиденье на будущее”. Не повышая голоса, я заявил ему, что прошу исправления отметки за поведение и нового “сведения” моим родителям. Сделав гримасу, словами “ну, ступай в класс” он отпустил меня.

Класс, узнав о новости, не без удовольствия постановил задать концерт Эмилию и только Черный вошел в класс, как со всех парт понеслись самые дикие какофонические звуки. Тихие напевы камаринской слышались с модным тогда напевом “стрелочка”, под аккомпанемент игры на системе воткнутых в край досок стальных перьев, жужжания, гудения и легкого присвиста.

Все сразу затихло при его окрике — “это опять свистун!” Я встал и резким голосом заявил ему, что свистуна никакого нет. Со словами “что он говорит?” он обратился к первому ученику, Фраловскому, который, объяснив ему все, что стало известно, стал самым бесцеремонным образом упрекать его в безобразном отношении к воспитанникам. Сконфуженный классный наставник промолчал, и после этого случая я заметил, что ко мне он стал относиться с гораздо большим вниманием и с меньшей бестолковой придиричивостью. По моему настоятельному и несколько раз повторенному требованию мне было выдано “сведение”, в котором говорилось кратко, что виновник обнаружен и что балл за поведение мне будет восстановлен. С порчей моей крови не считались безнравственные олимпийцы. Дома, за обеденным столом, на этот раз я решил вмешаться в общую беседу, чем рассердил отца, крикнувшего мне кратко — “тебе молчать!”. Тогда я встал, подошел к нему и молча, вынув из кармана листок, положил его перед ним и ткнул в него пальцем. Надев пенснэ и прочтя бумажонку и выразив крайнее удивление, отец обратился к матери со словами: “Дунечка, да что же это такое?” Даже прослезились все, радуясь, что правда восторжествовала. Можно бы, казалось, проявлять к детям побольше доверия!

Способов предьявить счета нашему начальству у меня не было, да и не до того мне было. Довольно и того, что судьбе угодно было порадовать меня пред лицом сильно сконфуженных. Я говорю о родителях, сконфузить наше гимназическое начальство вряд ли могло что-либо.



В конце апреля начались экзамены, их было много и они, как я уже сказал, имели поверочный характер — ими проверялись (если это только вообще возможно с помощью экзаменов) знания, приобретенные за четырехгодичный курс. Более всего я боялся математики, которую нам преподавал в этом году заслуженный преподаватель, пользовавшийся в то время большой известностью в округе, некий Ф.Ф. Чемолосов...

Не перескажешь всего, чем угощал за уроками наш учитель, о котором ученики старших классов говорили, что, по справкам, полоумного держат в гимназии только потому, что ему остается до пенсии полтора года. Как-то раз, в моем отсутствии, Чемолосов, задавая урок к следующему разу, потребовал учебник Давидова и, найдя нужную ему теорему, и зачеркивая пером ее решение, разорвал три страницы учебника, принадлежавшего первому ученику, и дал свое доказательство ее вместо “глупого”.

Эта совершенно пустая теоремка и погубила меня, из-за нее меня, не знавшего и даже не слыхавшего о новом доказательстве и уже выдержавшего все письменные и устные экзамены, оставили на второй год. Несчастья в этом году преследовали меня. Обрадованный тем, что мне по билету попалась эта легкая теорема, я красиво начертил на классной доске рисунок и не менее изящно расположил краткий текст ее доказательства согласно тому, что я знал о ней из учебника. Обернувшись к доске, Чемолосов резко закричал: “Два, на место!”. Директор Малиновский, присутствовавший на экзамене, не глядя на доску, подтвердил двукратно приказание идти на место.

Поражен я был до глубины души жестокой несправедливостью. Только после экзамена я узнал, в чем дело, мне разъяснили, что доказательство этой теоремы учебника, общепринятого в Московском учебном округе, “глупо” и заменено умным*.

По капризу выжившего из ума старика, покинувшего нашу гимназию через год, оставленный на второй год, я, почти ничего не делая, прекрасно учился весь следующий год. То первым, то вторым

* Следовало бы вновь прочесть ее доказательство в учебнике Давидова для того, чтобы убедиться в том, сколь оно глупо. 2 раза меня оставляли на второй год. Я точно сообщаю об этом, добавив, что в силу этого я окончил образование в Моск. университете не в 1884-м году, а лишь в 1886-м году... — *Прим. А.В. Живаго.*



учеником заканчивал я четверти и шутя сдал экзамены, получив на торжественном акте “похвальный лист”. Таким образом, нелепость постановления педагогического совета, послушного велению сумасброда и начальства, мне кажется, с очевидностью была доказана. Вполне успешно я учился и во всех остальных классах гимназии.

Считаю необходимым зарисовать здесь на память несколько портретов моих учителей. После Крылова русский язык в течение 2-х лет преподавал нам молодой учитель Рафаил Иванович Державин. Кудрявый шатен с удивительно красивым лицом, он отличался добротой не меньше, чем ленью. Скучает и дремлет себе, бывало, за уроками, склонив свою голову молодого богатыря на мощный кулак. Встречаясь с ним впоследствии, когда он уже в течение нескольких лет исполнял обязанности инспектора студентов Московского университета*, я спрашивал его о причине его бывшего дремотного состояния в классах. “Болела голова после бурных ночей, среди черных очей, не до вас мне было”, — говорил он мне, вздыхая и вечно жалуясь на плохое здоровье. Несколько лет назад он умер после длительных мучений от рака желудка, будучи директором 10-й гимназии (на Якиманке), заслужив любовь учеников и их родителей своим гуманным обращением.

С Рафаилом Ивановичем дружил преподаватель старших классов П.А. Виноградов. Он обучал нас русской словесности и логике. Бесталанный и ленивый, он не обладал даром речи, был бестолков и малоначитан. Особенно потешались над ним воспитанники старших классов на уроках логики, которая ему была чужда, и к урокам которой он не считал нужным готовиться. Дело доходило до того, что ему нередко за уроком предлагали справиться с жалким материалом тощей книжонки-учебника. Измышляя темы для сочинений, которые он любил задавать для домашних работ ученикам старших классов, он часто предлагал такие, от которых ученики отказывались, мотивируя свой отказ в обстоятельно

* В Университет Р.И. Державин вступил вскоре после смерти прогремевшего на всю матушку Русь инспектора Брызгалова. Мне говорили, что работы Р.И-ча никто не замечал в Университете. Бесцветной казалась она, должно быть, после скандальных выступлений его предшественника, министерского фаворита.



составленных записках. Почти не было ученика, который бы не считал нужным вступать со своим преподавателем в длиннейшие споры, просмотрев свою работу в исправленном им виде. А причин для этих споров возникало немало. Его слабая начитанность, плохое знакомство с историей и историей литературы, непродуманное и совершенно несерьезное отношение к делу порождали весьма часто препотешные стычки его с учениками, старавшимися уязвить своего учителя, изловив его на круглом невежестве.

Я любил писать сочинения на понравившиеся мне темы. Припоминаются мне две мои объемистые работы на темы: “Москва — сердце России” и “Война как враг и друг искусства”. Обилие исторического материала, всестороннее, насколько то представлялось для меня возможным, освещение вопроса, интересные соображения многих авторов, цитированные мною в кавычках и со ссылками на авторитеты, — все это, видимо, утомляло Петра Андреевича и в его малоосмысленных пометках и исправлениях цветными карандашами, за отсутствием орфографических ошибок, касавшихся более исправления оборотов речи, появлялись сплошь да рядом блестящие перлы его невежества. То он исправлял вынесенные в кавычки обороты речи историка Соловьева и других авторов, то, обрадовавшись опiske, допущенной в приведенном мною стихотворении такого автора, как Пушкин, он спешил исправить ее из куля в рогожу. Говорилось, например, о “торговом Болгар на Волге”, П.А. спешил исправить фразу, заимствованную Соловьевым у летописца на “болгар, торговавших на Волге”. Ему, видимо, было незнакомо пушкинское стихотворение, и описка “тревоги страна, звук мечей” уже красовалась в его исправлении, как тревоги страха”... (вместо стана). “За Можай” загоним, бывало, его, да нарвем задеть почувствительнее. Жалости у нас к нему не было, интересы своих учеников он не умел и не желал отстаивать, а этого не прощают.

Я не слышал пения Петра Андреевича, но говорили, что он мастерски пел русские песни под аккомпанемент гитары. Толпами собирались, будто бы, дачники у забора его маленькой дачки в Мазилове и долго не расходились, слушая полюбившегося им баритона. Учителем пения в гимназии состоял какой-то плохонький



тенорок-кутейничек, регент церковного хора. Сказывали, что он не без удовольствия ездил в Мазилово к гостеприимному дачевладельцу и пел с ним там дуэтом.

К числу самых плохих, я бы сказал, безнравственных, преподавателей принадлежал учитель греческого языка, чех Эмилий Вячеславович Черный. Издавна плененное блестящими способностями и громадной эрудицией братушек, наше министерство народного просвещения стремилось переполнить ими казенные гимназии. Мертвые языки были их специальностью. Много их позадержалось, кажется, в пределах нашего обширного отечества и донныне. Не знаю, многие ли заслужили уважение и любовь своих учеников? Не знаю, на чем покоилась уверенность министерства в их доброкачественности? Эти, модные, особенно в то время, преподаватели отличались, обычно, требовательной, грубой суровостью, полным отсутствием педагогического такта, нелепой придирчивостью и мелочностью чуждых нам душонок, а подчас и явной непорядочностью, граничащей с круглой безнравственностью...

А греческий язык в то время считался в числе самых главных предметов нашего гимназического курса. Им, как и латинским языком, душили самым основательным образом несчастных классиков. Мало было знать грамматику со всеми ее неправильными глаголами, черт знает, на что нужными, требовалось умение изящно по-гречески располагать слова фразы, помня разные хиазмы и другие обороты речи блестящих греческих ораторов. Совершенно необходимым считалось умение свободно переводить *a' la livre ouvert** “Анабасис” Ксенофонта и целый ряд песен (весьма трудной) Гомеровской Илиады. Благодаря нашему учителю, мы упростили все эти задачи и свели *ad minimum* все эти потребности, игнорируя серьезные занятия греческим языком, не глядя в будущее, до поры до времени не заботясь о том, как придется отдуваться на последнем выпускном экзамене по греческому языку. Уроки мы готовили, верно рассчитывая те дни, в которые будем почти безошибочно вызваны нашим учителем, установившим, трудно сказать по каким побуждениям, этот

* Переводить с листа, без подготовки (фр.).



удивительно приемлемый для нас порядок. Классные работы мы писали когортами, почти под диктант наших, разбросанных по классу, немногочисленных “действительных греков”, у которых дальнорские артисты списывали их переводы почти дословно, политично делая иногда с известной целью, негрубые ошибки. Авторов мы переводили прямо по подстрочнику, часто просто вложенному в книгу, и с развязностью защищали сплошь да рядом, безграмотный, а иногда и совершенно бессмысленный, вычитанный из него, перевод, вступая в спор с рассеянно слушавшим нас преподавателем. Постоянно занятый изданием все новых и новых греческих грамматик, каких-то дополнений к ним и хрестоматий, Эмилий Вячеславович с шестого класса уже начинал приносить на урок корректурные листы новых, подготовлявшихся к печати изданий и раздавал их для выправления русского текста наиболее толковым ученикам, занимая этой работой не менее 10 человек. Вложив в книгу пачки корректурных листков, он, ходя по классу и почти не слушая ответов вызванных учеников, просматривал и выправлял греческий текст. От отвечавшего кое-как урок нередко поступала просьба занять учителя, почему-то вдруг начинавшего прислушиваться к ответу более внимательно. В этих случаях моментально к Черному обращались за разъяснениями два, три корректора и завязывали с ним длинный спор по поводу той или другой фразы или того или другого оборота речи. Время шло и затруднявшегося ученика в короткое время успевали насытить знаниями. Нередко нахальство учеников выливалось через край и тогда вместо вызванного, отвечал один из его товарищей, которого для заявления об окончании ответа опять заменял вызванный. Качество ответа не принималось во внимание учителем, обыкновенно ставилась та же отметка, что стояла и ранее. Изредка торговались утерявшие всякий стыд, и тогда прибавлялся “плюс”.

Какое уважение к себе мог требовать Эмилий Черный, когда он сам, завидев входившего в класс директора, спешил припрятать под книгу свои листки и беспокойным взглядом окидывал своих сотрудников, неуверенный в том, что они последуют его примеру? Трудно было, почти невозможно ответить удовлетворительно в присутствии директора. В этих случаях сам Э.В. спешил на выручку



и вызывал хорошего ученика. Заставить учеников заниматься преподаваемым им предметом он не мог и презираемый всем классом пробовал мстить только избранным им жертвам, записывая их часто безо всякой вины в журнал за “неприличное поведение” и ставя им дурные отметки. За “поедаемых” иногда с успехом вступались те, что себя есть не давали. Поведение воспитанников, абсолютно не уважавших своего учителя и классного наставника (удивляло это назначение), мало было назвать неприличным, оно переходило всякие границы благопристойности и не только в средних классах, но и в старших.

Мы отказывались понимать, почему так редко в класс заглядывала налитая кровью голова инспектора Крылова или бессмысленное лицо надзирателя Покровского. Неужели в коридоре не слышно было того галдежа, хорового пения, наигрышей и присвистов, которые, сливаясь воедино, волнами проносились то усиливаясь, то ослабевая по классу чуть не на каждом уроке? Стуча ключом, прозванным почему-то “сортирным”, и чуть не ежеминутно крича в таких случаях: “тыше там на последней скамейке”, — Э.В. пробовал прекратить безобразие, но не решался оторваться от спешных и весьма нужных занятий корректурами.

Не знаю, как удалось весьма многим из нас получить удовлетворительные отметки на последнем выпускном экзамене по греческому языку, производившемся в ряду прочих в актовом зале на отдельных, далеко отставленных друг от друга столиках и в присутствии двух ассистентов, получивших предписание надзирать за самостоятельной работой учеников. Правда тема, присланная по обыкновению из округа, была на этот раз, по счастью, далеко не из трудных, к ней дано было довольно много вспомогательных пояснений, слов и даже полужраз. Э.В. щедро шел в таких случаях навстречу, добавляя и поясняя кое-что еще поподробнее. Сильно облегченная таким образом задача решалась все-таки далеко не легко привычными пользоваться не своим трудом учениками, и многие подозревали этого учителя в тайной, той или другой помощи экзаменуемым при самом просмотре этих работ на дому. Нельзя же было представлять в округ работы выпускных воспитанников, явно свидетельствовавшие о полной непригодности к делу их учителя!



Много лет учительствовал почтеннейший Э.В. Черный, много учебников он издал и переиздал на своем веку, принося огромную пользу делу просвещения. Он как мне известно, живет и по сей час, но уже пенсионером министерства, в своем маленьком именьеце, занимаясь сельским хозяйством и обуреваемый тою же манией издательства. Сравнительно недавно он издал, как мне удалось слышать, учебник, где он на этот раз знакомит с какой-то новой системой изобретенной имбухгалтерии (?!).

Приносит ли эта книга ему доход, не знаю, но уверяют, что дети его побаиваются, чтобы к вышедшей из моды греческой компилятивной макулатуре, которой завален его домик, не прибавились бы новые горы плодов последней, более соответствующей современности, его высокоценной работы.

Я уже упомянул о том, как перейдя в 6-ой класс, мы перепугались, узнав, что латинским языком в нашем классе решил заняться нами сам директор, Вячеслав Ильич Малиновский. И действительно, на первых же уроках мы поняли, что нам придется сильно подтянуться, что суровый формалист директор не даст нам возможности учиться спустя рукава, тем более, что носились слухи о том, что он покидает нашу гимназию, надеясь на заслуженное им повышение, и произведет нам экзамены при переходе в 7-ой класс в актовом зале по типу выпускных 8-го класса.

Историк по специальности, но, согласно обычаям того времени, установившимся для столиц, обязанный, как директор, преподавать один из древних языков в старших классах, он преподавал в нашей гимназии латинский язык, назначая для сего семь часов в неделю. В шестом классе изучение грамматики заканчивалось и две последние четверти ее усиленно повторяли. В.И. задавал нам очень помногу и требовал тонких знаний предмета, равняя нас в этом отношении с воспитанниками последнего класса. Чтение авторов требовалось вполне сознательное. Продолжая изучать с нами Тита Ливия, он подробно освещал события, излагаемые историком, напоминая нам исторические факты и знакомя с деталями, о которых мы и не читывали. Переводя речи Цицерона, мы должны были знать причины, по которым они были произнесены знаменитым оратором. Мы записывали его оживленные



галантливые рассказы. Такое преподавание могло заинтересовать учащихся и я, признаюсь, что к этим урокам я относился не без удовольствия.

Нам, кроме того, были положительно необходимы приличные отметки по нашим устным ответам, так как требования директора в отношении к письменным работам были настолько повышены и серьезны, что здесь отметки почти у всего класса были самые плохие. *Extemporalia** назначались, обычно, два раза в неделю. Директор диктовал нам русский текст и давал нам весьма мало слов и пояснений, оценивая наш латинский перевод весьма сурово. Уже небольшое количество и сравнительно неважных ошибок, сделанных учеником, обеспечивало получение двойки. Хоть не гляди в возвращенную тетрадь — больше двойки там не увидишь за самыми редкими исключениями. Одна, две четверки, да не более восьми, десяти троек на весь класс — это считалось вполне обычным явлением.

Часто и самые лучшие ученики, не привыкшие к неудовлетворительным отметкам, не справлялись с трудностями предложенной директором темы и получали двойки. Литературно-изысканным, а иногда каким-то газетным языком было изложено, обыкновенно, то, что нам предлагалось перевести на латинский язык. “Обсудив все за и против и сопоставив свои заключения с обоснованными предложениями окружавших его военачальников, Цезарь постановил решение...” и т.д., слышали мы, например, и вперед уже знали, что нам не справиться с предлагаемой задачей и что наш перевод не удовлетворит строго преподавателя.

Малиновский в оценке устных ответов был беспристрастен, его особенно удовлетворял осмысленный, толковый перевод авторов, и здесь он отнюдь не допускал подготовки урока с помощью какого-нибудь жалкого подстрочника, что замечал тотчас же. Он кроме того требовал, чтобы ученик отвечал урок громким голосом, не впадая в минорный тон и, сколь возможно, изящно излагая свои ответы. Вспыльчивый характер его не давал ему возможности удержаться подчас от глумления над плохо знавшими урок и он

* Экспромты, импровизации (лат.).



в таких случаях начинал передразнивать отвечающего. Не любя евреев, как говорили, вследствие того, что они опротивели ему во время долголетнего его пребывания на учительском посту в юго-западном крае, он часто, требуя от них ясной дикции и без акцента, начинал издеваться над их произношением и, забываясь, унижал свое достоинство, охотно рассказывая в таких случаях еврейские анекдоты на жаргоне. Класс, радуя директора, смеялся, и чуть ли не первым выражал свое удовольствие еврей Шмулевич, тогда как нервный Вермель весьма тяжело переносил эти издевательства, страдая от незаслуженных директорских выходов. Симпатичный товарищ этот, с которым я и в университете, а равно и в течении моей дальнейшей медицинской деятельности не порывал близких дружественных отношений, учился в гимназии превосходно, отличаясь постоянным стремлением поддерживать с товарищами самые лучшие отношения, за что и пользовался среди своих одноклассников любовью и уважением. Гораздо более способный и несравненно более развитой, чем наши первые ученики*, он ни разу не оказался зачисленным в первые. Записанному на золотую классную доску третьим, ему, по распоряжению директора, имя Соломон было заменено Александром. На заявление его, что это не его имя, классный наставник Э.В. Черный с улыбочкой ответил, ему “что так лучше”. В гимназию приезжал дядя Вермеля, у которого жил и воспитывался наш товарищ, и просил исправить нарочитую ошибку а, если это будет сочтено неудобным, снять с доски фамилию племянника. Устыдились и начертали действительное имя. Несмотря на этот ярко выраженный антисемитизм, директор к познаниям Вермеля относился весьма добросовестно, и частенько в числе двух, трех учеников, получивших за *extemporale* четверку, оказывался и безусловно хороший латинист Вермель.

После одного крайне неприятного случая я думал, что все пропало для меня и что мне не удастся вновь заслужить видимого или, вернее, казавшегося мне расположения ко мне моего строгого учителя. Крайне и до мелочности педантичный директор требовал, чтобы книги и тетради лежали перед началом урока перед

* В числе их часто фигурировал Лахтин Леонид, впоследствии проф. математики и одно время ректор Моск. университета. — *Прим. А.В. Живаго.*



учениками и потому, входя своими маленькими шажками в класс, он еще в дверях называл фамилию того или другого ученика, требуя немедленного ответа. Случилось так, что вызванный однажды подобным образом и не успев приготовить книгу, я, взяв ее у соседа, начал переводить заданную нам главу из Тита Ливия. Малоспособный и ленивый ученик чернилами надписал перевод весьма легкого текста из истории похода Ганнибала. Чернила расплылись по тончайшей бумаге, на которой тогда издавались учебники, с трудом можно было разбирать латинский текст. Директор, как бы не глядя на меня и продолжая ходить по классу, внимательно слушал мой перевод, исправляя изредка обороты речи. Я, обеспокоенный ответом по книге, вымазанной чернилами и не раз толкая ногой, и давая понять тупому “благодетелю”, что мне нужна моя книга, чуть не помертвел, когда директор, остановившись вдруг у края нашей лавки и протянув в мою сторону руку, спросил мою книгу. Я передал и несколько минут стоял, меняясь в лице под пристальным директорским взглядом изподлобья. Дойдя до учительского стола и сложив злосчастную книгу, Малиновский с силой бросил мне ее прямо в грудь и с криком: “лавочник, торгаш, не надуешь — не продашь”, — он стал, чуть ли не впервые за год, записывать мне единицу с такой силой, что сломал перо. Пропал, думалось мне, теперь все кончено, не будет уже никакой возможности устными ответами компенсировать двойки за письменные работы, сиди еще год в том же классе и проч. Не встать же мне было, дав директору успокоиться и не предложить же ему посмотреть на внутреннюю сторону переплета книги, где курчавым почерком было крупно изображено так: “Сия книга принадлежит ученику М. 3-ей гимназии Михаилу Павловичу Ртищеву”, а моя де вина только в том, что я не приготовил к началу урока свою книгу.

В тот же день во время урока рисования ко мне подошел вошедший в класс директор и внимательно осмотрев мой рисунок, обратился к А.Г. Заруцкому с заявлением, что я рисую превосходно. Заруцкий стал хвалить мои способности, а директор, глядя изподлобья, спросил меня, знаю ли я, что задано к следующему уроку. “Повторить из грамматики весь *accusativus cum infinitivo*”,



ответил я. Удовлетворившись ответом, директор вышел. Часа два сидел я в этот день в запасном классе и в удрученном расположении духа повторял те чуть ли не 15 страниц аккузатива со всеми примечаниями и ссылками на различных авторов. Долго повторял я свои знания по сему вопросу и дома. И было сие кстати, ибо на другой день я опять был вызван первым, отвечал бойко и обстоятельно и получил четверку.

Пакостный инцидент не принес мне дурных последствий, но мысли о письменном экзамене не давали нам покоя. Гроза надвигалась, а темы экстемпоралий становились все труднее и труднее. Наконец подошла страдная пора экзаменов. Торжественно происходили они в актовом зале за отдельными столиками, по типу выпускных. Тема по-латыни, к удивлению, не показалась нам очень трудной, нам было дано немало пояснений и обычные послеэкзаменационные справки у товарищей-латинистов на этот раз, казалось, не наводили на грустные мысли.

Подошли дни устных экзаменов. Порадовал меня экзамен по истории. Бывший преподаватель истории и большой знаток ее, директор, явившийся на экзамен, долго экзаменовал меня лично. Я еле успевал отвечать ему на залпы его вопросов, касавшихся самых разнообразных эпох. Хорошо помню, что несколько раз он требовал, чтобы я, применительно к той или другой хронологической дате, изложил ему события, приблизительно одновременно разыгравшиеся в различных государствах Европы. Прервав вдруг свои вопросы, он с чувством удовлетворения заявил Н.И. Карееву о своем удовольствии и отпустил меня, поставив мне “пять с плюсом”. Довольный, я задержался несколько в “шинельной” с товарищами следующей группы и, выйдя, вновь увидел у парадного подъезда директора, окруженного одноклассниками. Он отчитывал двоих из них, крича, что допущенных ими ошибок не сделает и ученик третьего класса. “Ведь написал же вот он вполне удовлетворительно свой письменный ответ”, — указал он на меня. Чуть не колесом шел я по Кузнецкому мосту домой в этот день, который мне хорошо помнится.

В.И. Малиновский покинул гимназию, выслужив пенсию и надеясь на повышение, которого не получил и, по слухам, захирел.



Я был уже на первом курсе медиц. факультета, когда 3-я гимназия уведомила о панихиде по бывшем директоре. В стенах гимназии собралось много бывших воспитанников, вспоминали сурового начальника и, хотя и чрезмерно требовательного, но прекрасного учителя латинского языка.

Вместе с Малиновским покинул гимназию и лютый инспектор Крылов, назначенный инспектором каких-то школ в западном крае. Никто не пожалел этого звероподобного палача наших душ. Жалеть надо было тех, с которыми теперь сводила его судьба...

В этом же году ушел из гимназии и талантливый преподаватель истории Н.И. Кареев, вступивший в профессорский состав Варшавского Университета. Он вскоре затем перевелся в Петербургский университет, где заслужил себе большое имя и написал ряд томов по истории крестьянских движений в Европе, а равно и по другим вопросам своей специальности. К сожалению, увлекшись идеями освобождения и не сумев удержаться, несмотря на свой почтенный возраст, в пределах возможного, он с юношеской экспансивностью стал приветствовать* без разбора всех борцов за это освобождение и, ударившись в чрезмерный космополитизм, отличился малоосмысленной для современности фразой о "ненужности и упразднении даже самого слова "Россия"...

С грустью простился я с некоторыми из товарищей, которые, окончив 6 классов, должны были покинуть нашу гимназию. Среди моих товарищей по гимназии до 7-го класса со мной учились сыновья покойного библиотекаря Московского университета Петра Алексеевича Бессонова. Однолетки, мы подружились и много чудных вечеров и ночей проводил я в семье этого старого, любившего молодежь, интересного человека. Тускло горевшие и вечно коптившие керосиновые лампы освещали мрачную, грязную лестницу, по которой часто бегал я на верхний этаж старого здания Московского университета, где в очень большой и плохо обставленной квартире поджидали шумную молодежь добрые, гостеприимные хозяева.

* Махая шляпой с балкона петербургского кадетского клуба, он до того увлекся, приветствуя шествие "лучших людей 1-ой Государственной Думы", что уронил шляпу в толпу.



К сыновьям, чаще по субботам, собирались товарищи, а к дочери веселые, оживленные подружки-барышни, и нередко до самого утра забавлялись мы, изобретая развлечения. Обладая хорошими голосами и выдающейся музыкальностью, сыновья Петра Алексеевича доставляли нам большое удовольствие своим пением. Большие театралы и любители итальянского *bel canto*, сколько арий и трио споют они, бывало, из наших любимых итальянских опер. Прекрасно фразируя по-итальянски и очень удачно имитируя манеры лучших итальянских маэстро, с громадным *brío** пел своим хорошим, звучным баритоном Петр Бессонов то арию Гоэля из “Диноры”, то полюбившуюся тогда москвичам вставную молитву Валентина из оперы Фауст и многие другие. Дуэт из “Дон-Жуана” и бравурный дуэт из “Пуритан” мастерски исполнялись молодыми одаренными певцами-любителями. Певал и я в хору, подтягивая твердачам.

Под гитару бойко исполнялись старые, чудные цыганские романсы, пелись и хоровые песни, но особенно любили мы студенческие “быстры как волны”, “*Gaudeamus*” и пр. Все, что исполнялось в своей компании или иногда в присутствии приглашенных профессоров и их семейств, исполнялось с должным мастерством. Безобразный галдеж не допускался, для концертов готовились подолгу, относясь к делу серьезно.

А то, бывало, часами слушали мы чтение самого Петра Алексеевича, усаживавшего нас в кружок за большим столом в гостиной. Читал он очень хорошо и нередко произведения авторов, не попавшие в печать. Преуморительно прочел он однажды нам, мужскому персоналу, сохранившееся в рукописи, оригинально рифмованное стихотворение гр. Алексея Толстого “Кастраты” и любезно предложил мне списать его на память.

Раза три, четыре в год на маленькой домашней сцене, созданной нашими руками, давались спектакли, к которым мы готовились подолгу, слаживая сцены из известнейших произведений лучших авторов. “Женитьба”, “Ревизор”, “Игроки” Н.В. Гоголя, сцены из Грибоедовского “Горя от ума” и только что поставленные тогда

* Блеск (ит.).



на сцене Малого театра, не помню в чьей обработке, сцены из “Мертвых душ” мне особенно памятливы. Незанятые в спектакле исполняли обязанности режиссера, сценариста, суфлера. Переиграв немало всевозможных ролей, я в то же время нес обязанности декоратора и гримера. О костюмах мы заботились задолго до спектакля, собирали и перекраивали их, как могли. А иногда и шили. Участники спектакля вносили на расходы по устройству трешницы, и собранной таким образом суммы нам хватало с избытком. Шумно аплодировали нам, а после спектакля и критиковали игру отдельных ролей, а иногда и общего ансамбля, видные профессора — товарищи Петра Алексеевича*. Зрителей собиралось иногда человек до 50-ти, а в объемистом невысоком зале казенной квартиры большой тесноты не замечалось. Гостей и нас, артистов, поили чаем и кормили бутербродами, а иногда устраивался и легкий незатейливый ужин. В таких случаях изредка допускалась и несерьезная выпивка.

Незаметно перед тем начав курить**, я набивал себе сам папиросы из дешевенького табаку. Мне припоминается, как я невольно осрамился однажды пред всей честной компанией. Впервые закурив сигарету, любезно предложенную мне проф. Бессоновым, я стоял

* Совсем недавно встреченный мною глубокий старец Н.А. Чаев, узнав, что я был знаком с Петром Алексеевичем, с удовольствием рассказывал мне о нем, о вечеринках, на которых и он бывал, вместе с проф. Федором Ивановичем Буслаевым, проф. Легониным и мн. другими. Бессонов, кроме обязанностей библиотекаря и частных курсов по славянским наречиям, которые он читал студентам Московского университета, много лет нес на себе обязанности секретаря Общества Любителей Русской Словесности. Вот почему его хорошо знал Чаев, бывший в те времена товарищем председателя Общества. Припомнил и я, что с билетами, легко достававшимися нам, мы сами тогда часто посещали крайне интересные (не те, что ныне!) заседания Общества Любителей Русской Словесности. Чаев с грустью говорил мне, что, расставшись с П.А. Бессоновым, назначенным в 1879 г. профессором Харьковского университета (куда он перебрался со всей семьей), он вскоре потерял его из вида и ничего не знал о дальнейшей судьбе его и его детей, которых хорошо знал и помнит. Слышал он, будто бы, что один из его сыновей (кажется Николай) одно время занимался где-то антрепризой вместе с Сергеем Саввичем Мамонтовым. Немного и я переписывался с бр. Бессоновыми. О Петре Петровиче я недавно узнал от кого-то, что он давно учителем в Харькове. — *Прим. А.В. Живаго.*

** Курить обучал меня мой двоюродный брат, Сергей Бакланов. Помню, как малоудачно я дебутировал, впервые закурив крепкую папиросу на Останкинском кургане. После двух, трех основательных, рекомендованных мне учителем затяжек, у меня вдруг закружилась голова и я кубарем скатился с кургана. Придя в себя и сидя у подножия кургана, я, помню, очень удивился тому, что мой учитель счел за лучшее поспешно скрыться. — *Прим. А.В. Живаго.*



у двери, слушая пение и, затягиваясь от души, пускал клубы дыма. В большое замешательство привел я всех присутствовавших, внезапно спустившись по косяку двери на пол. Узнавший от меня о причине дурноты, профессор рекомендовал мне курить сигары, не затягиваясь, и духотой в комнате объяснил гостям мое головокружение. С тех пор меня и в дальнейшем никогда не влекло к курению сигар.

Жалел я от души, что мне пришлось расстаться с этой милой семьей, где от зари до зари, бывало, в кругу симпатичных молодых людей и милых барышень мы весело проводили время.

Приходилось мне около того же времени посещать и еще одну, не менее милую семью моего товарища по гимназии и по университету, некоего Игнатия Бобкевича. В скромной квартирке у Покровского моста проживали четыре брата Бобкевичи. Квартиру снимал старший из них, симпатичный военный окружной ксендз, Иван Егорович. Хозяйство в доме вела не старая тетка их Елена Ивановна. Бедно жила семья этих милых людей, относившихся ко мне с искренней любовью. Феликс и Вацлав, уже студенты, зарабатывали кое-что уроками и чуть ли не все деньги отдавали тетке.

Весело пировали мы нередко у Елены Ивановны, с удовольствием слушая игру на рояле и пение большого друга их семьи, покойного суфлера императорской оперы, Викентия Викентьевича Арцимовича. Почти никогда не пользуясь нотами, мастерски играл и напевал на разные голоса чуть не целые оперы этот большой знаток оперных партитур, обладавший феноменальным слухом. Там же нередко мы встречали и второстепенных певцов и старших хористов казенной оперы. До утра, бывало, поют и потешно рассказывают различнейшие эпизоды из своей артистической жизни. Здесь же я впервые познакомился и с игрой в винт. Играли мы по тысячной, попивая пиво и улетая под утро колбасу и горячие, только что вынутые из печи, прекрасные польские пампушки. Арцимович неоднократно приглашал меня посидеть с ним в суфлерской будке Большого театра и в антрактах водил по сцене, давая разъяснения по поводу давно меня интересовавших тайн закулисной жизни. Сидя в будке, я поражался той ко-



лоссальной работе, которая лежит на обязанности этого незаметного деятеля оперного дела, его громадной музыкальной эрудиции и выдающемся слуху.

Он уговаривал меня в один из вечеров покинуть, вместе с ним, будку на время балета в опере “Руслан и Людмила”. Меня интересовало и это, я не послушался его и остался, надеясь доставить себе удовольствие. Разочарование мое было полным. Мелкая пыль неслась на меня, еле удерживался я, чтобы не расчихаться и никогда не забуду того, далеко не нежного аромата, что бил мне в нос, распространяясь от тех дивных ножек таинственных дев волшебного замка Черномора.

С грустью прощались артисты Большого театра с телом вскоре скончавшегося их общего любимца Викентия Викентьевича. Еще молодой, богатырски сложенный, он погиб чуть не внезапно. Чувствуя себя слегка нездоровым, разбитым, он засел в свою будку, чтобы суфлировать новой “несчастливой” оперой Бларамберга “Марией Бургундской”. Со 2-го акта Арцимовича уже заменили помощником, а, допевая последний акт, артисты уже знали, что, задушенный крупом гортани, Викентий Викентьевич уже лежит на столе.

Чудно пели артисты и хор казенной оперы за заупокойной мессой в польском костеле. На этом первом представлении новой оперы я был случайно в театре и ничего, понятно, не знал. Эту злосчастную оперу после трех представлений сняли с репертуара, так как как артисты, так и администрация были подавлены суеверным страхом — каждое представление ее сопровождалось каким-нибудь несчастьем (смерть товарища, падение занавеса и пр.). Добродушный и милый по характеру товарищ, пользовавшийся большим расположением моего отца, Игнатий Бобкевич, на год позднее кончил курс врачом. Он долго болел плевритом и был чуть ли не первым моим пациентом. Его охотно навещал иногда вместе со мною молодой ординатор клиники проф. Чернова, Н.Ф. Голубов, давно уже профессорствующий ныне в нашем старом университете. Игнатий служил земским, а затем уездным врачом в одной из центральных губерний и легкомысленно отдался в руки какому-то богатому помещику и местному предводителю дворянства, который



привязался к нему и, не находя другой компании, спаивал его, опорожня свой, набитый ценными винами, подвал. Лет 10—12 тому назад я встретился с Бобкевичем в одном из московских театров. До нельзя тучный и обрюзгший, он жаловался мне на почки и сердце и, заметно, тяжело страдал от приступов одышки. Месяца четыре спустя я узнал о его смерти.

Два последних года, проведенных мною в гимназии, прошли как-то незаметно. Приходилось много учиться, но дышалось уже легко. На осеннем Торжественном акте при переходе моем в 7-ой класс мы были крайне заинтересованы личностями наших новых начальников. На вид они оба не предвещали ничего хорошего. Весьма высокий и худой длинноносый брюнет с бледным скуластым лицом и с толстыми черными бровями, вздернутыми высоко над маленькими острыми глазами, Лукиан Осипович Лавровский не казался добродушным. С крестом на шее и высоко задрав плечи, он стоял, вытянувшись, рядом с весьма невзрачным собою, слегка раскосым и болезненно выглядевшим инспектором Константином Кирилловичем Войнаховским, присматривавшимся своими близорукими глазами к воспитанникам, переполнявшим зал.

Три инцидента на этом акте вызвали смешки в зале и позабавили собравшихся. О. Дмитрий Иванович Языков, обращаясь с речью к родителям, которых не мало стояло в зале, в отдельной от учеников группе, после слов “отцы и матери, глядите под ноги”, сделал слишком большую паузу, чем тотчас воспользовались ученики и, приглашая и группу родителей, склонились и стали рассматривать, к ужасу надзирателей и смущению новых начальников, самым внимательным образом паркетный пол. Выждав, о. протоиерей эффектно закончил свою фразу словами — “на какой почве образованности стоят ваши дети”.

Немало смеха вызвал и какой-то купец в длинном сюртуке и с медалью на шее, громко спросив первого ученика выпускного класса, только что получившего из рук директора золотую медаль: “Покажь-ка, братец, настоящая ли?”...

Новое превосходительство пугало нас не менее, чем старое, но мы близко узнали нашего нового директора, так как были его учениками в 7 и 8-м классах. Горячий, но снисходительный



и добрый, он не терзал нас латинским языком. Нельзя было без улыбки смотреть на него, когда он, перегибаясь резко назад и махая через голову своей длинной сухой рукой, вопил что “это plusquam-perfectum, что это было давно, давно” или когда он, высоко задирая свою длинную костлявую ногу и делая громадный шаг вперед, демонстративно показывал нам, как Ганнибал переходил через Альпы. Учились мы у него сносно и экзамен 8-го класса выдержали вполне удовлетворительно.

Не более 10 лет назад посетил я однажды хирургическую лечебницу моего друга П.И. Постникова, от которого узнал, что в отдельной палате его лечебницы лежит тяжело больной наш бывший директор. Сделанная ему пробная лапоротомия указала на то, что его рак желудка не операбелен. Я посетил сильно постаревшего и поседевшего Лукиана Осиповича, напомнив ему о себе, и старался подать ему надежду на выздоровление. Растроганным голосом старик благодарил за внимание и слабым голосом и с видимым удовольствием говорил о том, что, умирая, рад оставить о себе добрую память среди своих учеников.

К числу учителей, с которыми мы впервые познакомились в 7-м классе, принадлежали: наш новый преподаватель немецкого языка, пастор Бахман и преподаватель истории Смирнов. Скупые и безличные, они не могли заинтересовать нас и никакого следа не оставили они в моих воспоминаниях. Спрошенный как-то осенью впервые Смирновым, я отвечал как всегда хорошо, ознакомившись с заданным, но не по учебнику Иловайского. “Вы, следовательно, не читали учебника?” — спросил меня учитель. Я ответил, что в книгу Иловайского я никогда не заглядываю. Мне была поставлена четверка, и ни разу г. учитель не интересовался более моими знаниями в течение всего года.

Характеристика учителей 3-ей гимназии была бы не полна, если бы я ни слова не сказал еще о двоих, учиться у которых мне не пришлось, но о которых я все-таки мог составить себе некоторое представление. Старый солидный француз Бланше де-ла Рош, как говорили, дезертировавший в Россию еще совсем юным во время Севастопольской компании, кое-как знал русский язык и вначале своей деятельности хотел основательнее знакомить своих учеников



с французским языком, но, убедившись, что это ему не под силу, махнул рукой и продолжал отбывать свою грустную повинность. Учителем математики в классе брата Максимилиана был Дмитрий Федорович Назаров, считавшийся в то время одним из самых выдающихся в Москве преподавателей. Долго обязательным для гимназий был задачник “четырёх разбойников”, в составлении которого он участвовал вместе с Арбузовым и двумя братьями Мининными. Маленький гладко выбритый человек, с хохолком над высоким узеньким лбом, он считался грозой среди тупиц и лентяев. Требовательный и очень умный, он пользовался уважением учеников, сознательно относившихся к своим обязанностям и горой он стоял за них на так называемых педагогических советах, где часто не без яда делал мало лестные характеристики деятельности некоторых из своих коллег. Ученики мирились с его оригинальными выходками, они развлекали класс среди занятий математикой, в преподавание которой он умел вносить мало подходившее к ней оживление. Он всегда воздерживался от того, чтобы причинить ученику значительный вред, чтобы подвергнуть его суровому, другой раз, может быть, и вполне заслуженному наказанию, приучая учеников уважать себя и заставляя малоуспешных полюбить математику. “Г. Максимилиан Живаго, скажите вашему брату, если не ошибаюсь, Александру, что его видел в Варсонофьевском переулке курящим Назаров, было бы ему плохо, если бы это заметил кто-либо другой”, — сказал он однажды брату.

Одним из лучших педагогов в Москве был и наш новый инспектор К.К. Войнаховский, много лет впоследствии с большим достоинством и заслуженным глубоким к себе уважением исполнявший обязанности директора 7-й гимназии. Его гуманное, внимательное отношение к ученикам, его душевно мягкое, всегда ровное обращение с ними и справедливость снискали ему общую любовь, и на его похоронах говорили, что скончался самый выдающийся наставник и воспитатель юношества и человек редких душевных качеств.

Свет оказался не без добрых людей, но почти не знали мы их в гимназии ранее. Нами ведали люди другого пошиба. Их специаль-



но, должно быть, разыскивало министерство Толстого и им вверялись наши детские души.

Прислушивались в те времена к речам Каткова и Леонтьева, а они и их присные пели дифирамбы министру Народного Просвещения, проповедуя идеи “подтягивания” и подавления всех стремлений к сознательной и действительно просвещенной жизни.

Весело отпраздновали мы окончание гимназического образования. Пред нами широко были отворены двери Университета, предстояло вновь много и усиленно работать, но совершенно в других условиях. Каждому предоставлено было право избрать себе занятия теми науками, которые он считал себе по душе. Тяжелый хомут, казалось, свалился с наших шей, долго он теснил и давил нас. Не будь мелких радостей жизни, кошмарным показалось бы мне время, проведенное мною в моих школьных и гимназических занятиях.





А.В. ЖИВАГО

ПО НИЛУ ДО 22⁰ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ*
(Отрывки)

...15 декабря (1909 года) мы отбыли из Москвы, без сожаления простившись с ее морозами и надеясь покупаться в солнечных лучах лишние два с половиной месяца в наступавшем году.

Вена встретила нас неприветливо. Сыро и свежо; снегом запылены улицы и площади. Крайне любезно встреченные в отделении конторы Кука на площади Св. Стефана, мы уплатили следуемые с нас суммы, получили подневные расписания, билеты на проезд по железной дороге до Неаполя, право на замещение кают на комфортабельно оборудованном пароходе Северо-Германского Ллойда, который 25 декабря должен был покинуть порт Неаполя с тем, чтобы на третьи сутки доставить нас в Александрию, где, как и в Каире, предоставленные самим себе, мы располагали временем до 5 (18) января, когда в 10 часов утра на куковской пристани на Ниле у Каира в числе других 78 пассажиров 1-го класса нас должен был принять на борт лучший стилер компании "Егупт", предоставив в наше распоряжение уже записанные на наши имена три рядом расположенные на лучшей на пароходе верхней деке каюты.

Решено было так, что на обратном пути из Египта мы провели две-три недели в Греции, где мне дотоле, несмотря на все попытки, побывать в силу различнейших причин не удалось. В Александрии

* После своего путешествия на Ближний Восток А.В. Живаго составил его обширное научное описание, которое здесь частично публикуется. Рукопись хранится в архиве ГМИИ им. А.С. Пушкина.



или при желании в Суэце мы должны были сесть на один из лучших русских пароходов, который доставит нас в Пирей, откуда затем на другом пароходе Смирна-Константинополь-Одесса мы вернулись бы на родину. Ниже я скажу о том, как и на этот раз пришлось отказаться от небольшого путешествия по Греции и о том, как чудно хорошо сложилась и вторая половина нашего увлекательного странствования в этом году.

Незаметно прошли дни нашего пребывания в Вене, кое-где мы побывали, кое-что приобрели. Обычно не оживленный город жил на этот раз с утра до вечера полной жизнью. Предстояла встреча Нового года (нов. ст.). В Гранд-Отеле был сервирован парадный ужин. Кухонный персонал в чистых белых куртках и колпаках оригинально, согласно обыкновению приветствует и поздравляет с Новым годом разряженную публику шикарной гостиницы. Обходя столы с блюдом, кухонный обер основательно мнет под сытые бока довольно крупного розового тупоносого поросенка. Визг, хрюканье и попытки вырваться из рук приводят в восторг пирующих; декольтированные пышные венки разного возраста щекочат и бьют по пяточку беднягу поздравителя прекрасными малиновыми и синими пуками цветов, которые они предварительно орошают шампанским. Те же цветы летают затем по залам и вместе с бумажными разноцветными лентами попадают в ваш соус, изготовленный, кстати сказать, превосходно. В залах поют уже итальянцы, теперь они обходят столы с тарелкой. Но с нас довольно этого *Silvester-Abend'a*, нам завтра предстоит железнодорожный путь, надо хорошо выспаться.

1 января (н. ст.) мы уже на знакомом пути в Неаполь. Красавицу Венецию нельзя не посмотреть, еще раз бросить мимолетный взгляд на *Grand-Canale* с единственного железного моста, расположенного почти у самой станции. Моросит, небо в тяжелых тучах, на канале две-три гондолы. Картина невесела...

На рассвете наш поезд пробежал мимо спавшего величественного Рима, а в 12 часов дня мы были уже в хорошо знакомом нам Неаполе. Несмотря на плохую, ветреную погоду, мы славно пожили в этом очаровательном городе. Нельзя было вновь не посетить его знаменитого музея и не послушать в театре *San Carlo* старую беллиниевскую оперу "Норма" в хорошем исполнении. Много внимания уделили мы вновь и на диво



подобранному населению прекрасной биологической станции на берегу Golfo di Napoli. Целый день был проведен нами в Помпеях, где, кстати, новые scaviу Porto Vesirio, где, сколько бы раз ни бывал, всегда найдешь новые уголки, среди которых день покажется коротким.

В день Рождества Христова (ст. ст.) с утра очень сильный ветер. Кто-то уже говорил, что море беспокойно, что переезд в Александрию на этот раз удовольствия не доставит. Все может быть, но меня это особенно не беспокоило. Все виды морской качки я переносил хорошо. Не действовали на меня ни боковые бризы на Черном море, ни форменная буря у берегов северной Норвегии. В такие дни я не страдал, не валялся беспомощно целыми днями на койке, даже ел, напротив, больше и экономии от меня не видали парходные стюарты.

“Шлезвиг”, прекрасно оборудованный парход-салон Северо-Германского Ллойда, ровно в полдень отвалил от пристани Porto Nuovo Immaculatella, переполненный заранее записавшимися на его каюты пассажирами. Превосходны его обширные променадные деки, на них места много несмотря на то, что добрая половина пространства их через какой-нибудь час уже оказалась установленной весьма удобными лонгшезами, быстро заарендованными на все дни пути заботливыми о своих персонах американцами. А их немало было на парходе, среди невероятно большого количества немцев, видимо, комивояжеров, шумливо болтавших и упивавшихся пивом, надо сознаться, превосходного качества...

В Александрии мы решили провести один день; коммерческие дела нас не интересовали, на осмотр города и его древностей одного дня и нескольких часов следующего нам казалось вполне достаточно... Каиру и его окрестностям должны быть уделены те шесть дней, что оставались в нашем распоряжении до поездки нашей по Нилу, руководить которой мы поручили конторе Кука, обещав зайти в александрийское ее отделение...

От великолепного, построенного Динократом для Александра Великого города, нет и следа... Теперь Александрия со своим новым населением в полмиллиона душ не представляет ни для археологов, ни для любознательных туристов-любителей древности



того интереса, которого от нее можно бы ожидать, знакомясь с ее былой историей и мировым значением... В Александрии нельзя не ознакомиться лишь с двумя ее древними достопримечательностями: с катакомбами “холма черепков” (Ком эш-Шагафа), открытыми и очищенными итальянским археологом и бывшим директором Музея доктором Батти при содействии и помощи Шисс-паши в 1892 году и с так называемой колонной Помпея, расположенной на высоком холме в 10 минутах расстояния от катакомб.

Катакомбы от II века по Р.Х., они высечены в скале и крайне характерны своим чисто местным смешением египетского и греко-римского стилей... Заплатив за вход по 5 пиастров — тариф, что на наши деньги около 45 копеек, мы вошли на площадку разрытого храма, посреди которой возвышается небольшой круглый павильон с остроконечной стеклянной крышей. Витая лестница приводит в круглую камеру с прикрытым куполом на столбах колодцем посреди. В эту камеру открываются покои с саркофагами...

Осмотрев катакомбы, мы вскоре подошли к грандиозной монолитной колонне, стоящей на месте разрушенного при Феодосии Великом Серапеума, но известной под именем колонны Помпея... Батти, Зиглич и, наконец, нынешний директор музея Бреччия энергично производили раскопки вокруг этой колонны. Следы этих раскопок бросились и нам в глаза. Здесь повсюду находят остатки фундаментов старинных сооружений, развалины стен, обломки гранитных колонн, разные фрагменты от римской эпохи и прочее...

Позавтракав в гостинице, мы частью в экипаже, частью пешком поехали и побродили по улицам и торговым рядам, знакомясь с жизнью пестрой массы населения города. Нас особенно влекли к себе северный и западный его кварталы, где ютятся малосостоятельные мусульмане. Грязноватые, полные разных запахов улицы людны донельзя... Зеленщики, торговцы курами, некоторые из которых возят свою раскрывающую клювы растрясенную птицу в тележках, разместив живность в больших деревянных клетках, торговцы свежей рыбой, сладями, часто поджаривающимися тут же на улице, обувью и туфлями, фесками — тарбушами, старым платьем, — все собирают вокруг себя покупателей и простых зевак,



больших любителей погорланить... Недалеко от катакомб навстречу нам кто-то вдруг завопил грубым гортанным голосом. Из переулка показалась черномазая массивная фигура, толкавшая перед собой тележку, на полке которой блестели на солнце сильно раздутые извивавшиеся кишки. “Мазарин эль харуф”, — пояснил нам (гид) Аттия, — эти кишки быстро раскупят жены, чтобы изготовить мужьям лакомое блюдо.” Наверное, крайне острый вкус будут иметь эти фаршированные кишки-колбасы, которыми лакомиться, будто бы, не полагается бедным женщинам.

Идя в сторону взморья ввиду нового маяка на высоком берегу, встретили мы атлетическую фигуру черного как смоль суданца в форме рядового англо-египетской службы. Это его пост, было нам пояснено, отсюда он своими зоркими глазами следит за каждой маленькой лодчонкой, которая может пристать к берегу, пустынному к востоку от порта. На известном расстоянии от этого солдата на своих постах находятся его собратья, между ними связь. Так, по приказу английских властей ловят на побережье контрабандистов, любителей доставлять в страну строго запрещенные гашиш и опий.

Несмотря на все ухищрения по досмотру, в Александрии, по словам Аттии, все же достаточно притонов, где в глубокой тайне отравляют свое существование еще при жизни уже созерцающие Магометов рай несчастные курильщики.

Синие толстые губы сложились в сладостную улыбку, черные веки захлопали по желтоватым белкам, рука стала отдавать нам ежесекундную честь, когда мы предложили гиганту-часовому несколько штук папирос; он забрал их с глубокой радостью, памятуя, что на посту строго воспрещается брать что-либо из рук прохожих.

На улице Юзеф эль-Хаким (Иосифа—доктора) увидели другую важную рослую фигуру в красной феске, сдвинутой с высокого лба на затылок и не без вкуса задрапированную в белый плащ. Сфотографировав его и группу, его окружавшую и хором требовавшую бакшиша, мы узнали, кто этот почтенный гражданин. Он оказался бедуином, известным Мабруком, славящимся в городе тем, что в 1882 году во время восстания, поднятого Араби-пашой,



перерезал значительное количество христиан и евреев. Ни бакшиша, ни папирос мы никому, по совету нашего гида, не дали и удаляясь долго слушали то улюлюканье, которое посылалось нам вослед.

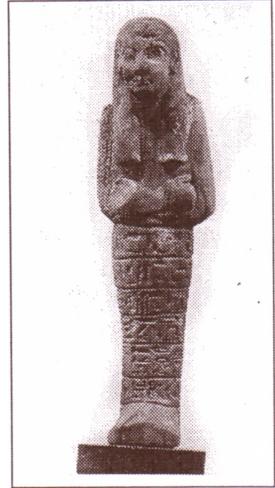
На одной из улиц белобрыйсы, круглолицы, еще совсем молодой человек в сильно потрепанном одеянии на чисто русском языке обратился к нам со словами, не подадим ли мы несчастному матросу с восставшего “Пантелеймона”. “Это русский, — поторопился пояснить нам гид, — их здесь порядочно, до глубокой ночи сидят они в портовом кафе самой дурной репутации, а впрочем, мсье, русских в Александрии любят, так как ваших соотечественников некогда, после войны, сильно расхваливали вернувшиеся из русского плена турки”, — хитровато улыбаясь, добавил Аттия...

Утро следующего дня мы провели в музее Александрии, открытом в 1895 году... В этом, в общем, небольшом, но прекрасно освещенном верхним светом музее обращают на себя внимание главным образом те произведения египетского искусства, на которых резок отпечаток греко-римского влияния и произведения последнего греко-римского периода, на коих сказывается еще в той или другой степени местное египетское воздействие. В залах скульптур мы видим, например, громадного кобчика Гора явно греческого периода, Аписа очень крупных размеров эпохи римских императоров, Исиду в греческом хитоне между двух змей, маски мумий эпохи Птолемеев и проч. Несколько стел, надгробий и рельефов несомненно египетской работы, но с явными признаками греко-римского влияния... Среди папирусов фараонической и птолемеевой эпох несколько чисто греческих и коптских, обрывки выписок из гомеровой “Илиады”, Каллимахова гимна, панегирика Исократа и других. От эпохи Птолемеев все больше деловые или жалобного характера. Их относящихся к римскому периоду особого интереса, как нам сказано, заслуживает юридический папирус (7 протоколов), уступленный музею Адольфом Каттаучи; начало его в берлинском музее.

Чрезвычайно интересна фигура Зевса-Сераписа — мраморное подражание тому изображению этого божества, что стояло



в Серапеуме и было сработано скульптором Бриаксидом из дерева, обложенного золотом и серебром и украшенного драгоценными камнями*... Упомяну еще головы Зевса, Александра Македонского, из которых наилучшей считается небольшая головка царя, приписываемая работе Лисиппа**, Юлия Цезаря, Клеопатры...



Большого внимания коллекциям этого прекрасного собрания предметов дорогого нам искусства мы уделить не могли. Торопясь, чтобы не опоздать на поезд в Каир, и покидая Александрийский музей, мы встретили директора его, итальянского археолога Бреччия, уделившего нам несколько минут на любезную беседу. Узнав, что мы спешим в Каир, он рекомендовал нам посетить тамошний музей, назвав его громадным кораблем, за которым чуть видно малое, но все же весьма ценное александрийское суденышко...

*Из коллекции
А.В. Живаго. Ушебти.
Именмеса. Дерево.
II тыс. до н.э.,
Новое царство*

КАИР. Час ранний, а на площади Оперы людно. Едва вы выходите из гостиницы, вы уже окружены предлагающими свои услуги гидами, продавцами открыток, фотографий, бус и всякой всячины, главным образом, же древностей самой беззастенчивой подделки. На маленьких лоточках, в корзинках, в руках у них целые богатства. Вас поражает количество скарабеев; пригоршнями вам суют их в руки. Гортанными голосами, а кто похитрее шепча таинственно, они восхваляют свой товар “вне конкуренции”. Среди

* Указание на это дано мне покойным заслуженным профессором В.К. Мальмбергом, считавшим этот отдел Александрийского Музея достаточно интересным. — *Прим. А.В. Живаго.*

** Итальянец мозаичист, занятый в Музее реставрацией чудных античных мозаичных полов, после беседы предложил мне на память свой гипсовый слепок этой превосходной работы, добавив, что с большим трудом получил разрешение на изготовление формы с этого мрамора. Слепок этот принесен мною в дар Государственному музею изобразительных искусств. — *Прим. А.В. Живаго.*



длинных нитей пестрых, будто бы, арабских бус всевозможного вида, ниспадающих с их шей, в их распоряжении целые ожерелья из крупных и мелких скарабеев различного материала и окраса. Спрос на них, а равно и на фигурки божков и так называемых “ответчиков” (ушебти), видимо, большой, иначе зачем бы толпиться у каждой гостиницы всем этим почтенным антикварам, зачем бы возникнуть целой индустрии по фальсификации этого хлама? Известно, что товар этот разного качества от жалких, крайне грубых, бросающихся в глаза подделок до тончайших и художественно выполненных, дает хороший заработок целому ряду ателье Италии, Швейцарии и за последнее время Германии...

Решив начать осмотр города с посещения цитадели, расположенной на склоне горы Мокаттам, с вершины которой открывается роскошный вид на весь город, часть реки и пирамиды, рисующиеся на фоне песков пустыни на западном берегу Нила, мы, ознакомившись с планом города, для довольно далекой поездки на его окраину сочли нужным взять на часы пароконную викторию, условившись с извозчиком предварительно обо всем. Договариваться, как оказалось, необходимо и о том, чтобы он ехал не спеша и делая остановки по первому нашему требованию.

Разве можно было отказать себе в удовольствии сфотографировать ту или другую уличную сцену, забежать на несколько минут в заинтересовавшую нас мечеть или посетить по пути Арабский Музей? Двухэтажное здание его содержится превосходно, в нем богатые коллекции древностей, свезенных сюда из разрушенных старинных мечетей, много старинного оружия, фаянсовой и металлической восточной посуды, чудных мозаик и проч. Во втором этаже — богатейшее книгохранилище...

Каирские улицы (шариа) полны интереса. Временами вам кажется, что вы в богатом европейском городе; большие дома с конторами, банками, прекрасными магазинами чередуются с нарядными особняками, оттененными купами могучих деревьев с их пышной темнозеленой листвой, но стоит свернуть в сторону, и вы среди кипучей жизни Востока. Часто, почти рядом стоят кое-где гордые мечети, одна другой красивее. Поразительно эффектны некоторые стройные высокие минареты. Улицы уже узки, дома да-



леко не те, что вы только что видели, стиль их восточный, с их фасадов выпирают гаремные окна — мушарабийе, расположенные нередко одно над другим, иногда рядами, но без всякой симметрии и похожие на балкончики, закрытые с трех сторон решетками. Жизнь на этих улочках бьет ключом, с трудом пробивается экипаж среди шумной толпы продавцов, покупателей, а иногда и просто снующей толпы разноплеменных бездельников. Немало улочек, куда лучше и не заглядывать вашему экипажу, там он не повернется и не разъедется со встречным. Не переставая окрикает ваш возница прохожих, со всех сторон несутся эти “шемаляк” (налево) или “еминак” (направо), слова, которые на улице слышишь также часто, как и бакшиш...



*Из коллекции А.В. Живаго
Голова мужчины.
Фрагмент саркофага.
Дерево, II тыс. до н.э.,
Новое царство*

ПИРАМИДЫ. Ярко голубое небо. Чудное солнечное холодноватое утро. У спутников нет желания ехать к пирамидам по электрической железной дороге и я их понимаю — пирамиды стоят того, чтобы истратить на них ту сумму, что спрашивает с нас троих за весь день араб извозчик, восседающий на козлах элегантной виктории...

Поднимаясь на скалистое плато, на котором стоят пирамиды на кривой дороге, сворачивающей влево между двумя стенками метровой высоты, сооруженными для защиты пути от наносных песков, мы встретили небольшую группу английских солдат в красных мундирах, спешивших к пирамидам. Мерно покачиваясь, туда же ехала на верблюдах супружеская чета молодых элегантных французов. Нас ходко обошли на худых с ободранными коленами верблюдах, покрытых как всегда толстыми пестрыми коврами, два молодых, что-то громко выкрикивающих бедуина, за которыми на бодром, не крупном коньке ехал стражник хедивальной службы в высоком фесе; он был одним из тех, что рассыпаны по всей долине



Нила для охраны туристов. Как ни мирны оседлые бедуины племени Нагама, осевшие некогда по соседству с пирамидами и крестьяне-феллахи Египта, по временам бывающие неприятности вынуждают правительство держать довольно значительный штат этих балисов*. А пирамида Хеопса все растет и растет на наших глазах, подавляя своей громадой. Проезжая мимо нее по ее северной стороне на уровне 15 метров, вы различаете вход во внутреннее ее помещение. Здесь же рядом с хеопсовою и небольшие пирамиды детей этого царя; от некоторых из них лишь жалкие остатки камня, расхищенного, как нам сказали, на арабские постройки новой столицы. В большей сохранности пирамида, принадлежавшая дочери Хуфу (Хеопса).



*А.В. Живаго (2-й верховой слева) со спутниками
вблизи Большого сфинкса. 1 января 1910 г.*

гранитного храма и гробниц некрополя берутся в небольшой будочке у хедивального киоска...

На мою долю выпало счастье видеть их (пирамиды), хотя и обезображенными, но чарующими и приковывающими взор.

Уже давно бросавшаяся в глаза грань большой пирамиды, по которой совершается восхождение на ее вершину, теперь отчетливо режется на фоне неба; она вся в зазубринах, местами дающих впечатление огромных ступеней.

Билеты на право осмотра всего участка пирамид с восхождением на наибольшую, с посещением их внутренних покоев, с осмотром сфинкса, его

* Слово переделано из французского — police. — Прим. А.В. Живаго.



Не покинул бы их, несмотря на однообразный их антураж, на желтоватую однотонность их с той территорией, над которой они царят, выделяясь на чистом, беспредельном, голубом небе, накидывающим на них прозрачно-голубоватую синеву в теневых местах, лишенных черных тонов, столь обычных при ярком освещении. Хотелось бы хоть раз провести около них целые сутки, чтобы самому повидать те световые эффекты, которые пленяют здесь взор в разные периоды утра, дня, вечера, ночи. Розовато-прозрачные утром, золотистые днем, алым огнем загорающиеся под вечер, фиолетовые в сумерки и черные, чуть поблескивающие на темном бархатном фоне ночи, они горят серебром при лунном освещении...

Но мы вновь на ослах, теперь нам предстоит ознакомиться со сфинксом и его гранитным храмом, этими древнейшими, как утверждают, грандиозными памятниками египетского искусства...

Серьезно, но чуть улыбаясь, глядело на нас незаслуженно оскорбленное лицо сфинкса, “великого стража пирамид”... В лучах восходящего солнца это громадное лицо, надо думать, еще эффектнее. Тысячелетия глядит оно своими широко раскрытыми глазами на восток, загадочно храня на устах заметную, трогательную улыбку...

Нам предстоял еще осмотр так называемого гранитного храма или храма сфинкса, расположенного вблизи последнего... В гранитный храм теперь входят со стороны сфинкса; небольшая лесенка, заключенная между защищающими ее от песков стенками, приводит в неширокий, отлого спускающийся вниз коридор, ведущий в довольно большую, кажущуюся узковатой залу; в ней шесть монолитных пилястров метровой толщины, на некоторых из них гранитные балки. К этой зале примыкает другая, более широкая, но менее удлиненная. Перекрытие последней лежало на прекрасно сохранившихся каменных массивных архитравах десяти столбов чудного розового гранита...

КАИРСКИЙ МУЗЕЙ. В Музее туристы запасаются именными картами, дающими им право посещать все развалины и достопримечательности Египта и Нубии... Мы посетили Музей



*Из коллекции А.В. Живаго. Амулеты:
Хор; Тот; Анубис; Исида; Нефтис; Харпократ.
Фаянс. I тыс. до н.э.*

всего три раза и должны сознаться, что обратили внимание лишь на самые выдающиеся его памятники и то далеко не на все. Подобных коллекций скоро не изучишь, мало и месяцев для планомерной работы. Мне не под силу мало-мальски сносно описать даже виденное нами...

ЛУКСОР. Наша стоянка в течение трех дней у Луксора, расположенного на месте древних величественных стовратных Фив... Подходя к пристани, мы миновали нерезко освещенные луной развалины Карнака, а затем и могучие колонны храма Аменхотепа III уже в недалеком расстоянии от пристани. С набережной открывается чудный вид на широкую реку, делящуюся здесь на два рукава и образующую большие песчаные мели. За рекой, у подножия Ливийской цепи гор разлегся величественный некрополь славного в древности города Фив. Некрополь частью отделен от реки полосками зеленой культурной земли и купами пальм чуть к северу расположенной деревеньки Брудхаммам...

По обеим сторонам реки на развалинах города, занесенных землей веков и песками, ряд столетий ютились жалкие деревушки, население которых, уже совершенно чуждое каким-либо эстетическим потребностям, кроме узко жизненных, продолжало уничтожать выдававшееся из-под земли, оставляя, по счастью, то, что разрушить было не под силу и то, что так или иначе можно было приспособить к жизни.

Громадных денег и невероятного труда стоило светлой науке воскресить из мрака забвения все то, что ныне здесь, да и повсюду в Египте, хотя и в развалинах, встает пред восхищенным взором ученых, художников и любознательных туристов. Вперед идет



работа исследователей, а за нею ширится и благородное знание.

Побывав у книжных торговцев на набережной и сделав кое-какие приобретения, мы прошли мимо столиков торговцев, раскинувших по внешней стороне колоннады большого храмового двора свои шелковые и бумажные ткани, ленты, кисеты для табака, неисчислимое количество бус, кое-какие “раритеты” и подошли к калитке металлической ограды, у которой предъявили сторожу наши личные карты, дававшие нам право осматривать памятники. Мы знаем, что входя здесь на большой двор храма, мы, собственно говоря, кладем неправильное начало осмотру всего храма Аменхотепа. Но что делать, эту ошибку делают все посетители. Осмотр храма следовало бы начинать с пристройки Рамзеса II, с его пилона, на котором рельефные изображения его побед над хеттами у Кадеша, а на верхней части западной башни — поэтическое описание этой битвы, известное под именем поэмы Пентаура, высеченное в длинных вертикалях иероглифов... После завтрака на пароходе нам уже предложены приготовленные для нас ослы и экипажи. Предстояла поездка в близко расположенный от Луксора Карнак. Экипажи неслись крупной рысью, обгоняя туристов, трусивших на нарядных осликах. Обитатели Луксора, предводительствуемые детворой, не обращая внимания на окрики погонщиков, выбегали стремительно из узеньких переулков и подобно детям, бежали вприпрыжку с протянутой рукой, выпрашивая у добрых инглизов и франков бакшиши. На остановках они тотчас же предлагали вам табачные изделия, бусы и разные безделушки.



Из коллекции А.В. Живаго. Сосуд для хранения внутренностей (каноп) с именем ПСАМТИХА. Мраморный оникс. 26 династия, VII век до н.э.



Недельного срока не хватит для того, чтобы мало-мальски удовлетворительно осмотреть весь конгломерат карнакских храмов. Одних аллей сфинксов, ведущих к храмам с разных сторон, насчитывают не менее пяти, а сколько пилонов, капелл, небольших храмиков и, конечно, крупных храмов в различных стадиях сохранности; как велика должна была быть стена, окружавшая не один грандиозный храм Амона-Ра, а и храм Хонсу, и храм Монту, храм Птолемеевой эпохи и целый ряд разбросанных по значительной территории более мелких святилищ, посвященных тому или другому божеству. Связанные договором, мы должны были в три дня осмотреть как памятники восточной стороны города, так и памятники его западной, кладбищенской стороны за рекой. В первое посещение Карнака пришлось ограничиться осмотром колоссального храма Амона и сравнительно небольшого, но очень интересного храма Хонсу; от последнего было недалеко до большого, но начинать осмотр Амонова храма было необходимо от главного входа. Вот почему мы решили, ознакомившись с храмом Хонсу, все остальное время дня посвятить Амонову, прекрасно сознавая, что и в таком случае он может быть обойден лишь спешно...



Из коллекции

*А.В. Живаго. Скарabei с
картушем Мен-Хепер-Ра.
Стеатит. I тыс. до н.э.*

Осмотрев не лишенный большого интереса храм Хонсу, мы сели на ослов и спешно направились к тому пункту на берегу Нила, от которого начинается главная аллея сфинксов, приводящая к колоссальному пилону величественного храма Амона. На пути нас задержало любопытное зрелище шествовавшего в пустыню большого каравана верблюдов с громадными тюками на горбах*.

На окраине деревни Карнак расположены куббы святых, среди них одинокие пальмы. Феллашенка сплошь в черном одеянии

* К хвосту головного рослого верблюда привязан шейный повод следующего и таким, я бы сказал, варварским способом в одну далеко растянувшуюся ленту соединены все 40 вьючных животных. — *Прим. А.В. Живаго.*



с большим черным узлом на голове и в сопровождении трех потешных черномазых малюток с большими плетеными корзинами в цепких рученках сторонится от нашей кавалькады. У последней куббы, осененной развесистым платаном, мы покидаем ослон, и перед нами небольшой двухэтажный домик инспектора археологической комиссии (Service des Antiquites), инженера и археолога Легрэна...

Без всякой исторической последовательности, единственно руководясь планом общей храмовой массы, мы кратко коснемся того, что было перед нашими глазами в самых выдающихся частях этого величественнейшего памятника древнего Египта, радуясь тем работам по реставрации, которые здесь налицо и которого стоит эта грандиознейшая в мире коллекция монументов строительного дела в одной связи. Наш краткий очерк виденного не может не оказаться слабым, поверхностным, но нам думается, что нет в мире и пера, которое вполне исчерпывающим образом могло бы описать все детали этой, в большей своей части художественно прекрасной массы камня, хотя и порушенной временем, стихиями и людьми.

Чтобы уяснить себе всю трудность этой задачи, мало побывать, повидать, надо очень долго пожить здесь, изучая каждый уголок. И сколько все новых и новых ценностей должно дать это кропотливое изучение! А как трудились и трудятся над этим люди, посвятившие свою жизнь любимой науке, об этом говорят нам обширные труды их и та, быть может, на беглый взгляд и незаметная работа, которой ныне всей душой с утра до вечера отдается здесь блестящий бельгийский археолог-реставратор и исследователь, полный энергии и выдающихся сил Жорж Легрэн. Чувство глубокого уважения вызывал в нас этот удивительный труженик при встречах с ним и не потушить бывало чувства охватывающей нас зависти к его работе, опыту и глубоким знаниям, так полна его деятельность интереса, так высокоблагодарно, трудно, но дает ему удовлетворение, это “дело его чести”, — как он сам сказал нам однажды.

Итак, входя в храм, мы не забываем, что привратником его стоит пилон — позднейшее сооружение на всем участке, занимаемом храмом. Нет равного ему пилона во всем Египте, ширина его 113 метров при высоте до 43 метров и при толщине стен 15 метров.



Сооружая его строители, очевидно, понимали, что он и не мог быть меньшим; им приходилось считаться с размерами других колоссальных частей храма. Громаден и двор, на который мы входим. На нем идут работы; кое-где еще значительные кучи земли и щебня, проложены рельсы, по которым бегают вагонетки с мусором, словом, идет его очистка... Портик правой, южной стороны этого большого двора в средней своей части прерван выступающим во двор небольшим сильно поврежденным пилоном довольно большого храма, поставленного здесь фараоном XX династии Расзесом III. На сохранившихся частях пилона картины из богатой победами жизни этого царя. Храм, очищенный Легрэнном, в 1898 году, состоит из переднего двора, пронаоса, ипостильной залы и трех святилищ местной триады богов...

Между полуразрушенным вторым и третьим, почти совершенно разрушенным пилоном Аменхотепа III находится непревзойденная доселе по своей величине зала; она служила ипостильной и имела в ширину 103 метра при глубине в 52 метра, покрывая собою площадь земли в 5000 кв. метров...

Мы здесь стоим пораженные гигантской колонной залой и гигантским осуществлением чудовищного плана. Сто тридцать четыре колонны колоссальных размеров были некогда покрыты массивным каменным потолком. Целый лес роскошно орнаментированных и ярко расписанных колонн этих не мог не производить подавляющего и чарующего впечатления и на тех, кто видел залу более 3000 лет тому назад.

Прошел ряд лет со времени нашего путешествия по священной реке царства великих фараонов, а впечатления от него так живы, как ни от одного другого. Они были так сильны, что не могли изгладиться, властно и постоянно требуя подкреплений, которые находить, было бы желание, нетрудно, благодаря неустанным трудам многочисленных работников, отдающих все свои силы и знания на дело дальнейшего изучения жизни и искусства древней страны, так несправедливо долго лежавшей в незаслуженном забвении.

Превратить Египет в провинцию Франции самонадеянному Бонапарту не удалось, несмотря на несколько блестящих побед,



одержанных французами, но одной из их побед в Египте мировая история научных знаний не забудет. Она одержана плеядой французских ученых, окружавших во время похода своего горделивого вождя. Их энергичными и тяжелыми трудами была поднята заброшенная нива научных знаний о стране, только отчасти интересовавшей ранее весьма немногих. В течение 27 лет члены французской экспедиции обрабатывали свои изыскания, касавшиеся состояния страны и ее памятников в древности и в эпоху им современную, сделали доступным то, что почти 18 столетий считалось недоступным для исследования, издали свои труды в до-толе беспримерно-объемистой работе и дали тем толчок для дальнейших изысканий, коим вскоре же, и в особенности вслед знаменитому Шампольону, отдались ученые различных национальностей, в среде которых ряд выдающихся ныне светил египтологии...

С сожалением простились мы с Египтом и его портом Александрией, точно нарочно залитой яркими лучами солнца, выглянувшего из-за туч в тот момент, когда мы начинали терять ее из вида.

Жалкое некогда поселение пастухов и финикийских рыбаков Ракудах в 3331 г. до Р.Х. волею великого македонца Александра вскоре делается чуть ли не мировой столицей как в интеллектуальном, так и в коммерческом отношении. Раздираемая бесчисленными восстаниями и смутами при Каракалле, Диоклетиане, Юлиане и Феодоре, ко времени основания Каира (641 г. по Р.Х.) и внедрения в страну исламизма Александрия уже в упадке полном. Жалостно влачит она, полумертвая, свое существование до того времени, когда в 1822 году волею другого пришельца румелийца

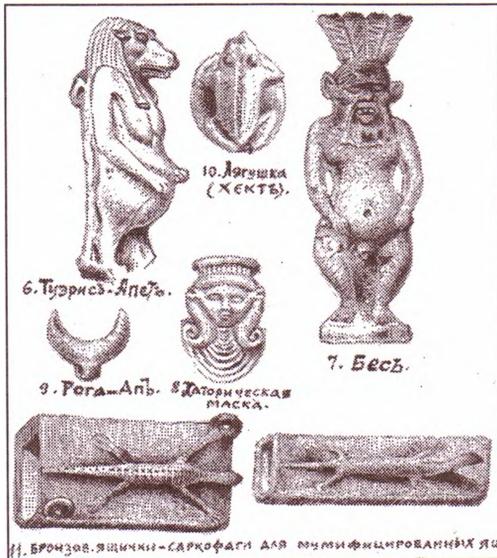


*Титульный лист Каталога
египетской коллекции
А.В. Живаго*



Мухаммеда Али воскрешает к новой жизни для того, чтобы вновь сделаться одним из виднейших портов Средиземья.

Но как бы в дальнейшем ни росло это коммерческое значение порта и, понятно, всей страны, как бы не влекло в Египет все новые и новые массы людей торгового и промышленного мира, в него проложен и не зарастает теперь широкий путь и для людей исторической науки и для тех, что любят и интересуются стариной и древним искусством. Позволительно надеяться, что и наша страна даст большой контингент и тех и других, ибо не могут и на нашей родине заглотнуть ни стремление к изучению этой чистой науки, ни высокий интерес к мировому искусству. Работа на этой нашей научной ниве поставлена твердо и прекрасно направлена нашими выдающимися египтологами и востоковедами О.Е. Леммоль, В.С. Голенищевым и Б.А. Тураевым, а все возрастающий интерес широких масс в этом направлении отмечается с несомненностью.



Рисунки А.В. Живаго



А.В. ЖИВАГО

ИЗ ТЕАТРАЛЬНОГО ДНЕВНИКА
(Отрывок)

Дневник № 20, 28 июня 1932 года.

Полный интереса вечер провел я сегодня, посетив К.С. Станиславского. Его секретарь Рипсимэ Карповна Таманцева письмом от 24-го уведомила меня, что уезжающий вновь в Баденвейлер К.С. очень хотел бы повидать меня до своего отъезда в начале июля. Она просила меня зайти в Художественный театр 26 или 27-го, чтобы сговориться о часе и дне свидания. Побывав у нее, я выяснил, что в 9 1/2 вечера 28-го я смогу повидаться с К.С.*

К назначенному времени я был в его квартире (Леонтьевский пер., б). От наблюдающей за его здоровьем фельдшерницы (оказавшейся моей знакомой, родственницей Лидии Алексеевны Авиловой, в доме которой я с ней встречался), я узнал, что К.С. уже проснулся после своего сна ("День мы превратили в ночь, спать К.С. уляжется часа в 2—3 утра."). Вскоре появился милейший К.С., показавшийся мне на вид свежим и бодрым. Серебристо-белая шевелюра, серебряные густые брови, очень хороший цвет лица, милая улыбка и мощная фигура. На мой вопрос, как он чувствует себя, он порадовал меня ответом, что летом хорошо,

* К.С. — так звали К.С. Станиславского его коллеги-артисты и друзья.



что тяжелы для него зимы, что почему-то он легко простужается, что легко получает грипп в холодное время. “Тяжело поболел я и нынешней зимой, долго поправлялся после серпигинозной формы гриппозного воспаления легких”. Лечит его доктор Фромгольд “и втайне полечиваюсь гомеопатией, — добавил он с улыбкой. — Просил бы я вас, дорогой Александр Васильевич, сказать мне, что бы вам привезти из-за границы.” На мое заявление о том, что сестры и так постоянно заботятся обо мне, за что я им страшно благодарен, что я бы не хотел, чтобы они тратились на меня, им самим с мужьями теперь много потруднее жить при общем кризисе в Германии, К.С. крайне удивил меня словами, что этот вопрос касается лично его, К.С., так как очаровательный доктор Шворер не позволяет ему платить за визиты и чтобы я таким хотя бы образом облегчил ему это его положение, что истраченные им на покупку чего-либо деньги он не считает своими: “Как я не уговаривал его брать с меня деньги за визиты, он всегда наотрез отказывается”. Уразумев в чем дело, я пожалел, что сгоряча, не разобравшись указал, что хотелось бы получить несколько штук воротничков, к которым привык и два-три полотенца, которых у меня маловато, и тотчас же прекратил излагать что-либо из моих недостатков, несмотря на то, что К.С., вынув записную книжечку, неоднократно повторил: “Ну, скажите, дорогой мой, что бы еще...”

За поданным мне стаканом чая с печеньем мы повели интересный разговор о работе, которая предстоит К.С. по трем его сценам. Прекрасный большой кабинет, где мы беседовали, и вообще вся квартира отведена под работу К.С. со студийцами (показал мне К.С., прощаясь со мной, и тот зал с четырьмя колоннами, в котором некогда в интимной обстановке был исполнен так понравившийся слушателям “Евгений Онегин”. Так что вся квартира за студией; “а там за кабинетом наша комната с женой”).

Сын К.С. женился на дочери Михаила Толстого и живет в Париже (ему всегда надо быть поближе к Давосу), а дочь со своей поразжающей способностями девчуркой (рисует, пишет чудные стихи, идеально говорит по-французски), “но, как хотите, лишена



отца, ибо моя дочь крайне неудачно вышла замуж за пейзажиста Фалька”, — с грустью в голосе добавил К.С., проговорившись, что забота о детях его не покидает, ведь они живут на его счет, что валюта ему нужна, но что янки, выплачивавшие ему 20% с переведенной на английский язык его книги, благодаря каким-то договорам с англичанами, печатающими книги на том же языке (“а он какой-то теперь всесветный, так что переводов на другие языки не требуется”) сделали то, что “я теперь вместо 20% получаю лишь 8%. Болел я и задерживается издание второй моей работы, которую уговаривают назвать “Моя театральная школа”, что мне кажется, не слишком ли громко.”

Наша беседа перешла к вопросу о руководимых им сценах. Положение Художественного театра, по словам К.С., теперь, благодаря переходу общего дела театра ко ВЦИКу, много лучше. На большом дворе в сторону бывшей церкви Косьмы и Дамиана мы приступаем к постройке театра для второй нашей сцены, расширяем и в основном театре кое-что. Очень жаль, что никак не можем отвязаться от слипшегося с нами театрального дела Немировича в помещении оперной сцены, где дана полная возможность увеличить все, перестроить. Вы не можете себе представить, как трудно содержать труппу, которая не мала при том, что играть можно три раза в неделю.

Какие оклады получают у нас готовые певцы? Разве только нужда или не большого волюма голос заставит петь за 160—200 рублей в месяц, когда провинция платит 600—800 рублей. Легко сманивают у нас певцов, взять хотя бы подготовившихся у нас: Печковского, Жадана, Лемешева, баса Ридикульцева (хороший голос, но не крупная одаренность). На мой вопрос, почему не выступает тенор Егоров, так успешно выступавший в “Пиковой даме”? — “Большое горе, — ответил мне К.С., — представьте, благодаря какому-то товарищу, спился... Руки не опускаем, работать будем и при этих трудных условиях, вся глубина нашей сцены 10 аршин, акустика в театре плоха донельзя. Наши пели в Ленинграде, и голоса там звучали неузнаваемо.

Намечено для оперной сцены: уже подготовленный “Севильский цирюльник”, затем поставим “Псковитянку” и за ней прекрасную



оперу “Риголетто” и, наконец, “Кармен” в новом, возможно, разрезе.

В 1-м Художественном в октябре, когда надеюсь приехать, не ранее, пойдут “Мертвые души”; бились над ними много. Хороший, способный, работающий артист и прекрасный человек Топорков будет играть Чичикова, но для гоголевского Павла Ивановича нет у артиста лица, что хотите, выход единственный — придать Чичикову большую дозу жуликоватости. И у Москвина не все для Ноздрева. Ведь знаете, я застал уже все подготовленным: декорации, роли розданы, под руководством Булгакова или репетиции. Ну, и все пришлось изменять, кроме розданных уже ролей. Вы знаете, не выношу я конструктивизма, а и он был.”

Мне захотелось узнать мнение К.С. о Булгакове и он мне сказал так: “Ну, режиссера из него не выйдет, но как драматург, как писатель он куда талантливее всех этих. Хочется ему играть, быть актером, а нам боязно — писать бросит. Хорошая пьеса пойдет у нас вслед за “Мертвыми душами”, над которыми еще похлопочем, ведь каждое гоголевское слово “во” (при этом К.С. широко охватил руками пространство). Пойдет “Мольер” Булгакова, назвать пьесу, кажется, придется “Смерть Мольера” (ранее хотели “Святошей”). Мольера будут играть вчеред братья — Москвин и Тарханов, роли распределены и в обработке мы подвинулись далеко.” На мой вопрос о Грибунине, К.С. с огорчением сказал: “Ну, это человек конченный, у него никуда не годится сердце. Сдают наши старики: постарела О.Л. Книппер, Качалов и Леонидов едут, представьте, полечиться в Баденвейлер. У Москвина — миокардит.”

Я посмеялся, сказав, что с миокардитом так не отмочишь роль в “Горячем сердце”. “А, будьте уверены, — сказал мне К.С., — болезнь его несомненна.”

“Горький сам взялся состряпать нам ряд картинок из своих повестей для одного как бы сборного спектакля, в который войдут сцены из “Моих университетов”, “Матери” и др. Посмотрим, что выйдет. Наконец, у нас имеется еще, на мой взгляд, очень ядовито, зло, памфлетно написанная Эренбургом комедия, где высмеивается махровое мещанство.” К.С. рассказал мне сюжет



чрезвычайно экстравагантной комедии этой, которая наименована “Самоубийцей”. Воздержусь от передачи сюжета здесь, скажу лишь, что построена комедия на хлестких курьезах, в которых выступают ярые контрреволюционеры, окружающие группой решившего покончить жизнь самоубийством мещанина. Уже намечен день и час, когда он гордо покинет советский мир, столь ненавистный ему. В пьесе он фигурирует и в гробу и при погребении, причем, его, оказавшегося живым, поносят...

На Малой сцене решено поставить “Таланты и поклонники” Островского. Довольно портить молодых артистов пьесами вроде “Квадратуры круга” и им подобными.

Вошедшую в кабинет Марию Петровну, встретившую меня крайне любезно, я приветствую и выражаю сожаление, что мне не удалось видеть ее в “Дядюшкином сне”, где играют три королевы (она, Книппер и Коренева). Смеясь, М.П. тотчас же заявила, что одна из этих королев сейчас у нее и, вводя Лидию Михайловну Кореневу, анонсировала ее королевский выход. Смелись и представляли меня артистке, целовавшейся с К.С. На мои слова, что я постоянно видел ее в концертах Большого театра или в опере (Отелло, Аида, юбилей Сука), она поспешила заявить мне: “Это для меня большие праздники”.

Коренева едет полечиться в Кисловодск, какой-то врач, спасибо, написал ей о ее расширении аорты.

Мария Петровна, справившись о том, пил ли я чай, предложила мне превкусные тартинки из пшенной крупы с вишневым вареньем и, когда я стал расхваливать хозяйку, то она прекоmicно силилась убедить меня в том, что я забыл какая хозяйка сестра Лиза Шворер: “Бывали, милый А.В., случаи, когда она являлась к нам в пансион со щами и восхитительным пирогом для мужа, а ему только и давай щи, кашу, пироги.” Тут К.С. вновь стал говорить добрые слова о моих баденвейлерцах. “Не хочется мне, добавил он, доктора Шворера и считать немцем, это очаровательный человек”. “Конечно, не пруссак, — ответил я, — южные немцы, а в том числе и баденцы — алеманы, а в крови Юши месиво: тут и венгерская кровь по бабушке и кровь парижанки — матери.”



“А премилая дочь Швореров, которую я хорошо знаю, — добавил К.С., — дочь прекрасной русской женщины”.

Был уже первый час утра, когда я, откланиваясь, просил К.С. показать мне зал с 4-мя колоннами, в чем он любезно мне не отказал, заявив, что в ее аднексах спит обычно порядочное количество не имеющих жилой площади артистов...

Пожимая мне руку и благодаря за визит, К.С. сетовал на то, что я не так часто хожу в его театры, где его место будет всегда предоставляться “вам моей секретаршей. Мои места всегда за мной, какие бы организации не закупили вечеровой спектакль...”





А.В. ЖИВАГО

ИЗ ПИСЕМ

..... 1925 г.

... Милая моя Ташурочка!

Спасибо тебе за превосходной работы иллюстрации к погребению фараона Тутанхамона. Эти прекрасные трехкамерные фотоснимки произвели, как на меня, так и на моих сослуживцев, огромное впечатление. Если, мой дружок, еще выйдет что-либо подобное (не будет ли снята крышка гроба? Ведь на лице фараона должна быть новая литого золота маска), то не поленись, вышли мне таким же способом.

Присел к столу и пишу тебе письмо, а у самого жар, ибо вчера объявилась гнусная инфлюэнца с сухостью в горле и отчаянным насморком. И в этом состоянии (заваленный вообще работой, а, главное, спешкой) провел я сегодня, в воскресенье, две группы экскурсантов и, сознаюсь, устал. Ряд последних дней был занят чисто графической работой. Сделал крупную виньетку к адресу, который Музей подносит Академии Наук, справляющей в начале сентября свой 200-летний юбилей. Сегодня сдал работу и рад, что всему персоналу угодил на славу, и в самом деле адрес вышел хорош.

Открываем весьма недурной подотдел Итальянской Живописи спешно к 12-му IX, когда из Ленинграда торжества юбилея будут



перенесены в Москву. После спешки засяду писать доклад по поводу моей дивной статуэтки Саисской эпохи егип. истор.-худож. жизни. Это женская головка — фрагмент, который не ударит в грязь лицом рядом с самыми лучшими произведениями этой так называемой эпохи египетского Возрождения.

Работа положительно дает мне силы, а последние подкрепляются еще общим на службе ко мне расположением. Не сглазить бы...

Слышу, как ты говоришь: “ну, опять разболтался”, а согласишься — приятно иногда поболтать, тем более человеку, которому часто целыми вечерами и поговорить-то не с кем.

24.XI.1932.

Милая и дорогая моя Ташурочка, сегодня, когда я работал с группой экскурсантов в своем отделе, был я вызван в вестибюль, где встретил меня плотный, с приятным русским лицом, гражданин и, представившись сыном знаменитого нашего академика И.П. Павлова, любезно передал мне от имени отца пакетик с двумя славными, довольно толстенькими тетрадочками — *quaderpo* — из хорошей бумаги, которые мне очень пойдутся для моих работ, и прекрасный блокнот, на полулистке которого, прочтя твоей милой рукой начертанный адрес, пишу тебе это маленькое послание, радуясь подарку. (Не удивляйся длинному периоду).

Мы поговорили немного, ибо мне надо было спешить в отдел, и любезный молодой еще человек, сказав, что нередко бывает в Москве, выразил желание, чтобы я как-нибудь побродил с ним по Музею, а я просил его побывать и у меня на квартире.

Он успел мне сообщить, что он с отцом, после осмотра превосходнейшей биологической станции, был весьма радушно принят в доме на *via Crispi*. Я очень пожалел, что у нас не было времени на более обстоятельную беседу. Надеюсь, что ты как-нибудь на досуге опишешь мне этот визит одного из самых



выдающихся не только наших, но и мировых ученых. Интересно ваше впечатление и то, какое он произвел на Рейнгардта.

Благодарю и целую ручку.

На днях через Худ. театр я получил от К.С-ча и М.П. увесистую и вкусную колбасу, посланную мне Лилуткой. Жаль только, что не могу я ею полакомиться как следует, ибо замечаю какие-то неполадки со стороны желудка, и какая-то странная боль в области за грудной костью беспокоит меня несколько дней. Гоню мнительность, но сдаётся, уже не в пищеводе ли она. Кажется и не обжигал, и не поцарапал. Возможно, что эти болевые ощущения происходят от некоторого переутомления сердца — много и подолгу приходилось за последние недели говорить, читая лекции. Последить придется и повяяснить...

Вчера был у Васюка, он, бедняга, только что пролежал несколько дней с довольно высокой температурой. Все более и более думаю, не являются ли эти его приступы, то редкие, то частые, выражением захваченной в путешествии мексиканской лихорадки. Он полечивается, а хинину нет. Как-нибудь при случае с кем-нибудь прислала бы солено-кислого.

Я застал его уже в лаборатории за работой (они работают исключительно прекрасные художественные фото, имеют постоянные заказы от различных советских организаций). Я пересмотрел ряд их альбомов, где вещи, изготовленные самой разнообразной фототехникой. Недаром их исследовательское ателье пользуется в Москве известностью как первое...

Целую тебя и всех моих драгоценных крепко... Будьте здоровы.

Твой Саша.

17.VIII.

Ты пишешь, отчего я не приехал бы к вам, имея 1,5 мес. отпуск. С огромной радостью я бы всех вас, самых дорогих мне, повидал, но ты чуть преувеличиваешь мои силы — я утомляюсь теперь скоро, мне приходится отыскивать себе покой, спать днем.



Поверь, другой раз (меня это даже сердит) ноги плетешь, так бы, кажется, никуда бы не пошел, “укатали Сивку крутые горки”, да оно и понятно. Кроме того, все новые и новые смены начальства (да еще какого другой раз); вот и сейчас новые упорные слухи. Куда тут — из отпуска сходишь в учреждение поразузнать. А еще, ведь я как бы сторож у дорогого сердцу моему научного инвентаря — книг, диапозитивов и коллекций, а ведь все это уже давно на учете Музея. Каков будет мой финал, не знаю, но до известной степени и к нему надо быть готовым, а мало ли что может приключиться, лучше уже пускай дома, чем на чужбине. Я не упрямец, моя хорошая, ты сама пишешь, что всегда не лишен был энергии и ездил всюду всегда охотно. Но еще раз повторю, что своего штатного места мне терять бы не хотелось. За мою жизнь я хорошо знаю, чем кончались для стариков эти потери службы, и знаю одно: что бы ни творилось в недрах учреждения, где работаю, я полюбил его еще с 1912 года, и оно мне дорого, несмотря на то, что лишь 2-3 человека из тех, что меня ценили, еще живы. Так что, друг мой, не будем говорить об невозможных отъездах, как бы ни хотелось. Ни тебе, ни мне не нужны волнения... Пав. Дм. Корин так еще и не удосужился побывать у меня. Сперва все дописывал свой будто бы превосходный портрет Алексея Максимовича [Горького], а затем поехал в свой родной Палех... Ну, он-то придет ко мне и много мне порасскажет. Скоро кончится его отпуск, данный ему после путешествия. Я очень интересуюсь посмотреть его этюды и зарисовки и копии с Сикстинской капеллы, а потому побываю у него. Мы с ним в самых милых отношениях.

22.VI.1933.

Дело в том, что 8.VI. я в хорошей компании вновь побывал на юбилее, на этот раз скромном, но очень весело проведенном, в день 30-летия славной деятельности еще одного культурного работника... а именно С.И. Зимины. Поражала скромность цифры, которую вносили сценические деятели и мы, почитатели, за билет



на эту пирушку. Представьте, уплачивалась грандиозная сумма в 15 советских рублей! Роскоши, понятно, быть не могло, а сердечности и теплоты в чествовании заслужившего их в полной мере человека было много... Помнится, и для вас, хотя много реже, чем для меня, постановки его театра представляли интерес. Собирались почитатели и снова, главным образом, вокалисты и вокалистки Б. Театра и его филиала к 11 часам вечера в помещение (припомни) его когда-то пользовавшейся известностью костюмерной мастерской, что в Кузнецком переулке. Ныне там театр, столовая. Около 12 часов явился исхудавший почтенный юбиляр, которого встретили "славой", мощными голосами солистов спетой. Вот эти четыре строчки:

*Слава на небе солнцу высокому, слава!
Во Москве свет Сергею Ивановичу, слава!
Все деянья его не забудутся, слава!
И в потомстве достойно вспомнятся, слава!"*

Затем прочтен был Ал. Пироговым, славным русаком, тепло составленный адрес в честь доброй души благородного человека, так много, не жалея сил, поработавшего на культурном поприще. Пошли затем поцелуи, и отмечу, что мужской персонал долго не сдавал юбиляра дамскому. Ко мне, Н.К-чу Рукавишникову и его зятю подходили очень многие певцы и певицы, знакомились, а знакомые дружелюбно приветствовали и меня, выдавшего их лишь на сценических подмостках. Тенора, басы, баритоны сменялись молодыми и уже более почтенными солистками оперы. Радовалась свиданию и Екатерина II из "Пиковой дамы", Нежданова, окруженная товарищами по сцене, уселась в уголке и весело болтала. Меня очень удивил вдруг из толпы быстро подбежавший ко мне Голованов, дирижер и ее супруг, и крепко обеими руками стиснув мои руки, называл меня "дорогим доктором". Кто-нибудь не иначе подсуфлировал ему о моей профессии. Затем всех попросили из верхней залы в большую, нижнюю, а там были накрыты человек на сто двадцать столы. Тесновато, но компания веселая и ладная около и напротив нас составила из певцов обоого пола. Чем же угостили? Пред каждым прибором три тарелки: с черным хлебом, с тешкой



в зелени и говядиной в салате с луком; по местам в граненых вазах нечто подобное салату оливье, живо уничтоженное проголодавшейся братией. Пирожное (ныне у нас модное, дешевенькое) и чай завершали ужин. Весьма понятно, что ни водки, ни вина предложить не могли, но зачем у мужчин задние карманы в штанах? Оттуда и появились бутылки с водочкой, портвейном и наливками. Пошел дележ, кушали охотно напитки и наши дамочки, а из буфета черпали ряды бутылок пива по 2 р. 50 к. бутылка и пили его с жадностью. Стало шумно, хористы — “левый клирос” верхней залы — пели несчетное число раз “славу” и др. песнопения. Провозглашались тосты, читалась прекрасная былина в старо-русском стиле о витязе-богатыре Сергее Иванове сыне. Бучинский, зять Н.К., прочел свое очень интересное стихотворение (он оч. хороший поэт). Многие говорили речи, несмотря на сообщение Пирогова, что юбиляр просил о том, чтобы их не было. Болеющий К.С. Станиславский просил передать свое приветствие, шумными аплодисментами встреченное. Давно забытое мною пиво между тем делало свое дело, в моей лысой башке что-то шевелилось, и отправился я говорить ласковые слова юбиляру, которому доставил видимое удовольствие, упомянув, что он познакомил нас, старых опероманов, более чем с 35 операми, которые без него не видали бы в Москве света рамы.

25.VI.....

20.VI и 23.VI я для заключения сезона, представь себе, с наслаждением смотрел два балета: “Бахчисарайский фонтан” и “Эсмеральду” в исполнении превосходного балетного ансамбля в 260 человек Ленинградского театра оперы и балета (бывшего Мариинского театра). Десятки лет именно были. петербургский балет и его школа занимали с честью 1-е место во всей Европе. Я не особый любитель хореографического искусства, но ведь хорошо еще помню знаменитых итальянских балерин Цукки, Гримальди, которые восхищали своим искусством наши обе столицы. Ну, а затем? И поныне наша Петербургская школа,



выпустившая знаменитых Преображенскую, Анну Павлову, Нижинского и мн. других, прославившихся в Европе и Америке, не засыпает на лаврах. Москве Ленинград дал замечательную танцовщицу Семенову, а на днях показал блестящих балерин: Уланову, Вечеслову, Иордан, Лопухину, Дудинскую (особенно двух первых — героинь двух сказанных балетов, воскрешающих уже забываемый так наз. классический балет, но в то же время и проделывающих тур-де-форсы, завидные и для первоклассных итальянских балерин доброго старого времени. 1-й балет написан на сюжет маленькой (но развитой постановщиками) поэмы А.С. Пушкина. В нем изумительно хороша звездочка Уланова, великолепны ее партнеры, особенно красавец и силач молодой Сергеев (с налету он, напр., поймав на ладонь правой руки Уланову, вознес ее ввысь, не шелохнувшись, продержав на вытянутой руке балерину “под мягкое место”...). Вечеслова — дивная танцовщица и сильно драматическая актриса в нелегкой роли Эсмеральды. А каков мужской персонал? Дудко — красавец хан Гирей и архидьякон Клод Фролло в “Эсмеральде”; грузин Чабукиани в мифологич. роли Актеона на светском балу во 2-й опере, где очаровательна воздушная Диана — Лопухина. И все они — ученики великолепной учительницы-балетмейстерши Вагановой. А сколько у нее их с 1917 года! Как великолепен и кордебалет, и как хороши декорации талантливой художницы, молодой еще Ходасевич.





Мария ЛОБЫЦЫНА

КТО ВЫ, ДОКТОР ЖИВАГО?*

Размышляя о путях развития русского романа, Ф.М. Достоевский в финале “Подростка” писал (в 1875 г.), что когда-нибудь появится книга, в которой знакомый писателю мир предстанет как мираж: “Такое произведение принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории... Это была бы картина, художественно законченная... Внук тех героев, которые были изображены в картине, изображавшей русское семейство средне-высшего культурного круга... даже должен явиться каким-нибудь чудаком, которого читатель с первого взгляда мог бы признать за сошедшего с поля... Еще далее — и исчезнет даже и этот внук — мизантроп, явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж, но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен дальнейший русский роман. Но увы! Роман ли окажется тогда невозможным?”

Час такого романа-”миража” все же пробил в XX веке. Одним из последних классических семейных романов критики называют “Доктора Живаго” Бориса Пастернака, подчеркивая верность его традициям русской прозы.

Тема крушения жизненного уклада, когда-то предсказанная Достоевским, получила здесь свое воплощение. Герой романа —

* Статья опубликована в журнале “Знамя”, № 5, 1993 г. Печатается с сокращениями.



отпрыск старинной семьи, чудака, “сошедший с поля”. С образом главного персонажа связаны мотивы всевозрастающего душевного одиночества, отчуждения человека от жестокого к нему мира.

Человеку XIX века мир книги и мир реальный напоминали два сообщающихся сосуда: в сложных коллизиях, в характеристике персонажей угадывались знакомые черты его личностного бытия. Чтение же произведений Б. Пастернака не рождает столь прямых ассоциаций. Позволим себе небольшое отступление. У писателя прошлого века, Константина Аксакова есть фантастический рассказ о том, как художник, гонимый врагами, уходит в свою картину. Вошедшие в комнату видят лишь безжизненное тело... и изображение живого, смеющегося человека на холсте — ситуация, напоминающая ту, что скрыта в романе Пастернака. Ведь в нем персонажи носят подлинные московские фамилии.

Что знаем мы ныне о семействах Комаровских, Свентицких, Гордон? Увы — ничего. А для человека начала века звучание их фамилий было наполнено смыслом: за родовыми именами вставали вехи русской истории. Действующих лиц романа, разумеется, нельзя прямо сопоставлять с их реальными “однофамильцами”. Напоминание о них должно было подчеркнуть связь времен, необходимость соединения дня сегодняшнего с прошедшим и будущим, к которому обращена книга. Попробуем же вывести из небытия людей, подаривших имена героям Пастернака.

Во времена юности писателя Москва представляла собой замкнутый патриархальный мир. Семьи гордились своим прошлым, и не только дворяне — и купцы, и мещане бережно хранили свои родословные.

Старинная купеческая фамилия Живаго была хорошо известна в Москве. К.С. Станиславский в книге воспоминаний назвал представителей купечества “строителями русской культурной жизни”. В самом определении скрыт глубокий смысл: строительство — созидание, тот фундамент, на котором возводится “храм искусства”. Прошлое созидания родов дает множество примеров такого созидания: музеи, картинные галереи, здания театров, переданные безвозмездно родному городу.



Выбор имени героя был, таким образом, не случаен. Вспомним, как один из персонажей романа Пастернака, услышав фамилию Живаго, вспоминает, что это “что-то” купеческое.

Первые страницы романа повествуют об истории семейства Живаго. Однако рассказ о ней ведется не в форме родословной, или краткой хроники прошедших событий, как то было в классическом романе XIX века, но в сумбурных воспоминаниях десятилетнего мальчика. Осиротевший ребенок пытается восстановить в памяти слышанные им когда-то рассказы о прошлом семьи. Долгая история рода умещается в нескольких коротких строках: “...Была мануфактура Живаго, Банк Живаго, Дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго... и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику: “К Живаго!” и он уносил вас на санках в тридевятое царство... Вдруг все это разлетелось...”

Так в роман входит тема одиночества, разорванных родственных уз, говоря словами Достоевского, исчезающего “случайного семейства”.

Однако в самом звучании фамилии скрыт оптимистический смысл. Представляя собой одну из форм слова “живой” (в древнерусском варианте), она символизировала, по мнению исследователей, Е.Б. Пастернака и В.М. Борисова, “вечность московской жизни”. Отметим, что не только фамилия, но и имя героя имеют особый смысл: человек, родившийся в прошлом веке и названный кратко Юрием, мог быть крещен только как Георгий.

Доктор Живаго имел имя покровителя Москвы Святого Георгия, изображенного на гербе города в виде всадника, поражающего змея. Тот же образ отчеканен на старинных монетах и даже дал название самой мелкой из них, в которую русский человек порой оценивает собственную жизнь. Воинственный взмах копья — и жизнь оказывается ценой в копейку. Это имя как бы подчеркивает, что носитель его — “плоть от плоти” родного города.

Перелистаем страницы родословной реальных москвичей Живаго. Она помогает понять, почему из многих знаменитых фамилий именно эта могла заинтересовать писателя.



В роду Живаго среди людей основательных, достойно продолжавших торговое дело, обязательно находился “блудный сын”, который отказывался от карьеры и посвящал себя “нехлебным”, по выражению старинного автора, занятиям: поэзии, живописи, музыке. Говоря о представителях семьи Живаго, москвичи замечали, что жажда перемен, страсть к риску у них в крови.

Семен Афанасьевич Живаго стал первым в семье, кто проложил “путь к искусствам”. В начале XX века среди Живаго мы уже находим и живописцев, и музыкантов. Внучатый племянник художника, Роман Васильевич, был талантливым скрипачом. Он собрал уникальную коллекцию, украшением которой являлся инструмент работы Амати. Канувший в Лету пастельный портрет так и изображал его: с любимой скрипкой в руках. Дом Р.В. Живаго считался одним из интеллектуальных центров Москвы. В этом плане бесценны воспоминания его внука, Александра Васильевича, ученого-океанолога, доктора географических наук. Ныне он является хранителем и продолжателем семейных традиций. По словам Александра Васильевича, в доме бабушки регулярно устраивались музыкальные вечера для широкого круга знакомых. Хозяином был организован квартет, в котором принимали участие он сам и его друзья. В семье сохранился уникальный документ: записи обо всех концертах, прошедших в доме Живаго, с перечнем многочисленных участников как любителей, так и профессионалов. Думая о реальных собраниях, невольно вспоминаешь строки из романа: “Громехо были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера музыки, на которых исполнялись фортепианные трио и струнные квартеты”...

Мир художественных увлечений братьев Живаго был близок и понятен московской интеллигенции, которой принадлежали и родители Пастернака, отец — художник и мать — талантливая пианистка...

Однако в истории рода Живаго была и печальная страница. Поговорим об Александре Ивановиче Живаго (1850—1882), враче и поэте. Он был сыном уже известного нам Ивана Афанасьевича от второго брака. Изображений доктора Живаго, к сожалению,



не сохранилось. Бесспорно лишь одно: он был человеком разносторонне одаренным, личностью мужественной и бескомпромиссной, что и подтвердил весь его трагический жизненный путь.

...Вернемся в прошедшее столетие. В огромном особняке живет на покое старый Иван Афанасьевич с сыновьями, преуспевающими коммерсантами. Дело процветает, фамилия пользуется безупречной репутацией. Казалось бы, что еще желать? Александр Живаго отказывается от торговой карьеры и избирает медицину. Его ждет тяжкий труд военного хирурга, отметим — не частного практикующего врача: вечные переезды, тяготы походов, угроза шальных пуль в полевом госпитале, раненые, которых он спасает во время русско-турецкой войны.

Мы помним, что хирургом был и герой романа: “...Но как ни велика была его тяга к искусству и истории, он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией прирожденная веселость или склонность к меланхолии. Он находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общепользным. Вот он и пошел по медицине...”

Доктор Александр Иванович Живаго писал стихи. Иногда они появлялись в “Стрекозе”. В том же журнале, под псевдонимом Антоша Чехонте, публиковался и начинающий коллега доктора... Впоследствии Антон Павлович в шутку и всерьез заметил, что медицина всегда была для него основным занятием: медицина — жена, а литература — всего лишь любовница... На первом месте для Живаго находился профессиональный долг. Литература стала его “тайной страстью”. Быть может, поэтому он публиковал лишь сатирические стихотворения, лирические же произведения читал только в кругу близких друзей.

Стихи А. Живаго, резкие и сердитые по содержанию, звучат удивительно современно:

*Когда нет тонкого вина,
Простой прилично выпить водки
И на простой кататься лодке,
Когда в гондоле течь со дна...*



*Когда зайдешь ты в ресторан,
Поешь и голодно, и скверно,
Купи калач тогда, и верно
Покой желудку будет дан.*

*Когда хороших нет газет,
Довольствуйся, мой друг, украдкой
Газеткой пошленькой и гадкой,
Нет оперы — иди в балет.*

*Всего нельзя и перечесть,
Что можно предложить в замену,
Когда препятствий всяких стену
Не прошибить, не перелезть!*

Жизнь открылась доктору Живаго отнюдь не с лирической стороны. Мы не знаем, чем вызвано страшное решение, — разочарованностью, крахом ли юношеской мечты — врачевать и души, и тела, “сеять разумное, доброе, вечное...”

В 32 года доктор Живаго покончил собой. Так же трагически рано и нелепо оборвется жизнь героя Пастернака: “...От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь, распинаться пред тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье... Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно...”

Слова писателя приоткрывают завесу над историей гибели и героя, и прототипа.

Трагическая судьба доктора была известна москвичам. Не мог не знать ее и Борис Пастернак, общаясь в юности с родственниками Александра Ивановича Живаго, милыми и интеллигентными людьми. Мог ли он тогда помыслить, что привычный с детства мир окажется миражным, и как трагический символ ушедшей эпохи встанет однажды пред ним образ доктора Живаго!





РОД ЖИВАГО СЕГОДНЯ*

У АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЖИВАГО было четверо братьев и три сестры. Из пятерых братьев один лишь Роман Васильевич оставил потомство. Его старшая дочь, Татьяна Романовна (1884—1952), в 1913 году вышла замуж за профессора Рейнхарда Дорна и уехала с ним в Неаполь, где отец Р. Дорна, Антон Дорн, основал морскую зоологическую станцию, научно-исследовательский центр по изучению уникальной фауны Неаполитанского залива. На станции Дорна работали ученые всего мира, в том числе русские. Кстати, сам А. Дорн был женат на русской, дочери саратовского губернатора. После смерти Р. Дорна станцией руководил его сын Петр Дорн, пока это учреждение не было национализировано. Петр переселился под Рим, где и поныне живет на своей небольшой ферме, ведя “натуральный образ жизни”. В Неаполе проживает его старшая сестра Антониетта, биолог по образованию. Младшая сестра, Амарилли, вышла замуж за шотландца, один из ее сыновей живет в Австралии, другой — в Соединенных Штатах.

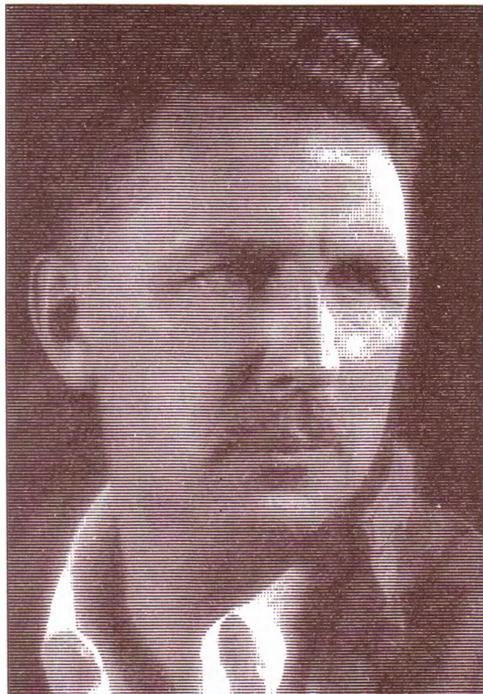
* С использованием материалов И.Г. Кусовой из книги “История рода Живаго”. — Рязань. — Фирма “Март”, 1994.



Младшая дочь Романа Васильевича ЖИВАГО, Наталья Романовна (1891—1939), окончила естественное отделение физико-математического факультета Московских высших женских курсов и училась живописи под руководством художника К.Ф. Юона. Обе сестры и Наталья, и Татьяна, “талантливо лепили и рисовали”. В архиве У. Иваска имелись рисунки Натальи Романовны с изображением домов, принадлежащих Живаго в Москве и окрестностях города. Наталья была замужем за А.М. Овчинниковым, сыном “московских фабрикантов золотых и серебряных изделий, а впоследствии за Д.А. Ярошевским. Имела троих детей. Ее дочь, Наталья Алексеевна Овчинникова (Бергхаус) (1912—1994), почти полвека прожила в Мюнхене, сменив не одну профессию. Сын, Адриан Алексеевич Овчинников (1915) — архитектор, ученик знаменитого И.В. Жолтовского, автор многочисленных трудов по архитектуре и дизайну, ныне профессор Московского государственного художественно-промышленного Университета имени С.Г. Строганова. Другой сын, также москвич, Илья Дмитриевич Ярошевский (1931—1987), был талантливым инженером-электронщиком.

Единственный сын Романа Васильевича, Василий Романович (1889—1937?) стал последним из старого поколения Живаго, кто занимался торгово-предпринимательской деятельностью. Он окончил Московское коммерческое училище и служил в Московском торгово-промышленном товариществе по хлопковому отделению. В начале XX века, изучая хлопковое дело, несколько лет провел в Англии и Соединенных Штатах. Во время турне по Америке привлек к себе внимание местной прессы. У него брали интервью. “Russian cotton man” улыбался со страниц американских газет. В молодости Василий увлекался плаванием, лыжами, состоял в активе сразу нескольких спортивных обществ столицы. Под влиянием дяди, Александра Васильевича, к которому был сильно привязан, он серьезно занялся фотографией.

Большевистская революция в России резко изменила жизнь Василия Романовича. Приходилось приспосабливаться к новым обстоятельствам. Он неоднократно менял работу. В 1920-е годы



Василий Романович Живаго

путешествовал на научно-исследовательском судне по Индийскому океану (вероятно, в качестве фотографа), работал в Резинотресте, Академии художественных наук и, наконец, возглавлял Научно-исследовательский институт экспериментальной и прикладной фотографии при Литературном музее в Москве.

С ростом сталинизма в стране над Василием Живаго все более сгущались тучи. Институт был упразднен, вернее, преобразован в “кабинет”. Сам Живаго, обладавший независимым характером, постоянно получал нарекания со стороны директора музея В.В. Бонч-Бруевича. “Не выпячивайте свое существование, —

увещевал Бонч-Бруевич заведующего кабинетом, — это никуда не годится”. Действительно, добром это не кончилось. В 1937 году Василий Романович был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Никто из родных его больше не видел. Впоследствии его реабилитировали “за отсутствием состава преступления”.

Наследники Василия Романовича — два сына и дочь. Каждый из них продолжил свою родовую ветвь.

Сыновья Василия Романовича посвятили себя науке. Старший — **Александр Васильевич Живаго (1914)** — крупный ученый, доктор географических наук, профессор, лауреат Государственной пре-



мии СССР, консультант Института океанологии Российской академии наук, почетный академик Российской академии естественных наук специализируется на изучении геологического строения дна океанов и морей и является одним из создателей нового направления в океанологии — морской геоморфологии.

За многие годы исследовательской работы им опубликовано около 200 научных трудов. С 1949 года вплоть до недавнего времени Александр Васильевич выходил в долгосрочные океанские рейсы на научно-исследовательских судах Академии наук СССР и России. Участвовал в трех первых советских экспедициях в Антарктиду. За более чем двадцать совершенных им рейсов он провел на судовых палубах в общей сложности пять лет жизни. А.В. Живаго лично знаком с Т. Хейердалом и Ж. Кусто.

В Институте океанологии вместе с А.В. Живаго работают ученые-биологи Федор Александрович Пастернак, племянник поэта Бориса Пастернака, и его дочь Анна Федоровна. Так судьба еще раз свела эти две известные фамилии.

Сын Александра Васильевича — Николай Александрович Живаго (1946) — литератор, переводчик итальянской литературы и драматургии. Долгое время преподавал в 1-м Московском государственном педагогическом институте иностранных языков имени М. Горького; член Союза писателей России, лауреат Национальной премии Италии 1992 года “За перевод”.

Дочь Александра Васильевича — Ольга Александровна Живаго (1955) — филолог, университетский преподаватель русского языка. Дочь Ольги — Ксюша (1991) — школьница.

Младший сын Василия Романовича — **Никита Васильевич Живаго (1918—1977)** — кандидат геолого-минералогических наук; был доцентом Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, написал два учебника для вузов по специальностям “Астрономо-геодезия” и “Морская геодезия”. Он серьезно интересовался прошлым семьи, работал с архивами и на память своим сыновьям оставил почти скопированную рукопись



У. Иваска с родословной росписью рода Живаго, а также фотографии предков и их портретных изображений.

У Никиты Васильевича два сына. Василий Никитович Живаго (1943) — кандидат геолого-минералогических наук, начальник отдела Министерства науки и технологий Российской Федерации. Иван Никитович Живаго (1958) — автоинженер; следуя коренной традиции рода, занимается предпринимательством.

Дети Василия, Никита (1976) и Наталья (1978) — студенты; сын Ивана, Вася (1987) — школьник.

Дочь Василия Романовича — **Татьяна Васильевна Живаго (1916—1993)**, москвичка, была художницей, чертежницей, специалистом по промышленно-технической графике.

Сын Татьяны Васильевны — Петр Владимирович Горшунов (1939) — руководитель редакционно-издательского комплекса АО “Институт экономики и комплексных проблем связи” (“ЭКОС”) в Москве.

В Москве живет и здравствует представительница другой ветви того же рода, Вера Владимировна Живаго (Кириллова) (1922). Педагог с двумя высшими образованиями, она всю свою жизнь посвятила работе с детьми. Ее дед, Иван Михайлович Живаго (1836—1907), был потомственным дворянином, тайным советником, инспектором Московской практической академии коммерческих наук. Отец же, Владимир Иванович Живаго (1871—1934), троюродный брат Александра Васильевича, один из родоначальников начертательной геометрии в России, был профессором Московской военной академии, принимал активное участие в основании Тульского университета.

Много славных, талантливых, достойных людей подарил миру в своем отечестве и других странах старинный рязанско-московский род Живаго.



Теперь подрастают его юные наследники и продолжатели.

Дай Бог им укрепить и проявить себя так, чтобы когда-нибудь и их дела добрым словом помянули потомки во славу России.



РОД ЖИВАГО

Таблица 1

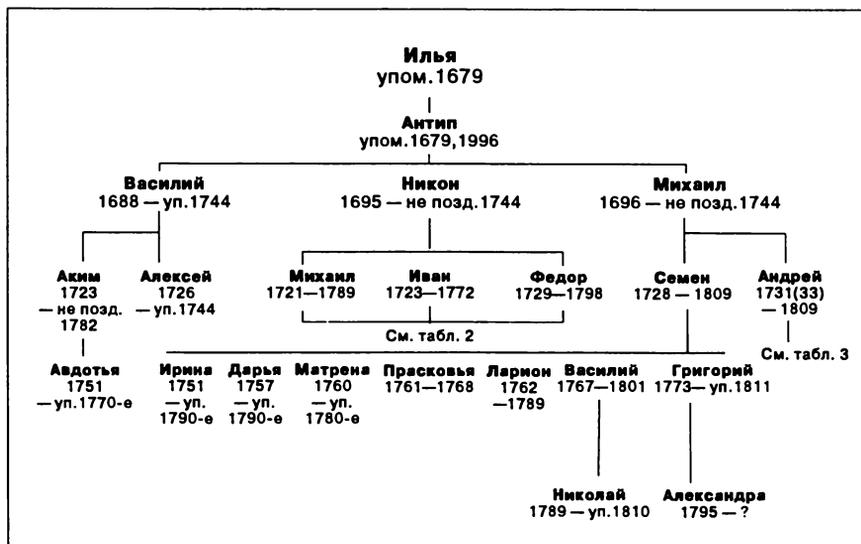
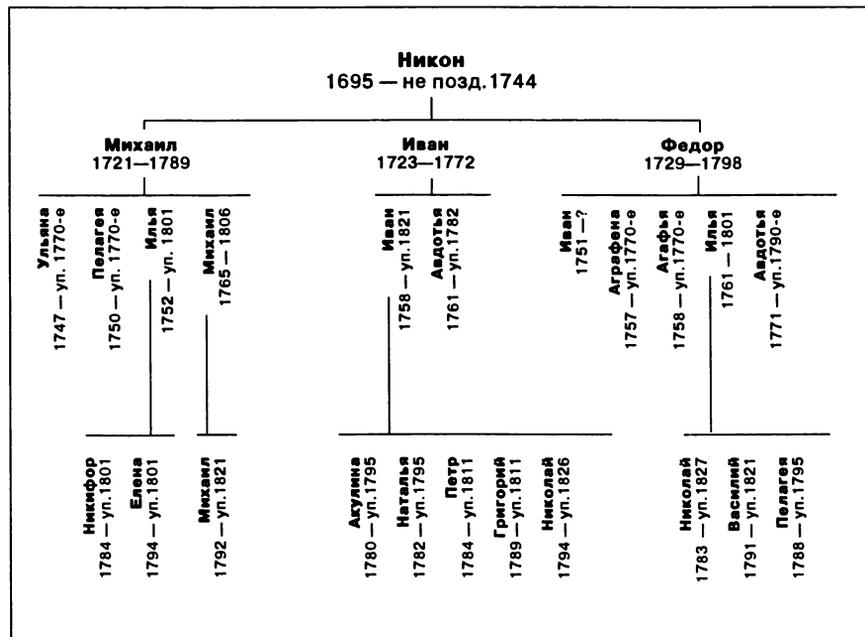


Таблица 2



**А.В. ЖИВАГО — врач,
коллекционер, египтолог**

**Составители:
Николай Живаго, Петр Горшунов**

**Редактор
Вадим Гельман**

**Компьютерный дизайн и верстка
*Т.Я. Корницкая***

**Набор
*Т.П. Ерохина, В.Г. Платонова***

Корректор *Л.В. Куракина*

Обложка художника *А.В. Петрова*

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 040351 от 21.02.92

**Подп. в печать 27.02.98 г. Формат 60x84/16 Гарнитура "NTTimes/Cyrillic" Бумага "Лен"
Печать офсетная Усл. печ. л. 11, 5 Уч.-изд. л. 11,0 Тираж 1500 Заказ 26**

**Подготовлено и отпечатано в типографии АО "ЭКОС"
113209, Москва, Зюзинская ул., д. 6, корп. 2**

